
Игорь Колесник
Джон

Игорь Колесник

Джон

«Автор»
2026

Колесник И. Н.

Джон / И. Н. Колесник — «Автор», 2026

История Ливерпульской четверки от лица Джона. С раннего детства и до 1980 года.

© Колесник И. Н., 2026
© Автор, 2026

Игорь Колесник
Джон

Роман.
Джон.

Предисловие.
Детство.

Дедушка, у меня играл в сборище-"Кентукки Менестрельз" и я, буду играть и петь в каком ни будь… группе.

— вот первые, осознанные мысли о музыке, которые у меня появились, в четыре года.

Я, вообще родился в госпитале, под звуки ревущих двигателей, гитлеровских самолетов.

6 часов 30 мнут. 9 октября 1940 года....

Ливерпуль. Великобритания.

Оксфорд-Стрит. Жестокая бомбежка, фюрерского люфтваффе... и тут появляюсь, я... романтический момент.

А, фугасы рвутся, совсем рядом. Эти звуки при рождении, записались глубоко в подсознание. Наверное, отсюда желание взорвать весь мир.

Разрывы бомб. Просто, рок музыка в стиле жесткого, ну слово подходит только железо. Жесткое-железо. Думаю, будет такой стиль. Ведь угадал с рождением.

Всегда умел, появляться и уходить, когда этого никто не ждал.

Ухожу, правда, зная когда. Нервничаю по этому поводу жутко. Просто так нельзя уйти. Все предначертано. Свою судьбу не изменить.

Раскрываю книгу "Над пропастью во ржи"- пытаюсь сосредоточиться на чтении. Жду кульминации.

Начинаю понимать текст. Интересно, кстати написано.

Все в этой жизни, взаимосвязано и интересно.

Когда, погружаешься, в происходящее, тут тебя и убивают. Отрываюсь от строчек, поднимаю голову и смотрю вверх. Узкая сероватая река виднеется между крыш небоскребов.

Это хмурое небо, скоро примет меня, в свои объятия.

Небоскреб, кивает своей башкой. Очень высокий. В Ливерпуле все дома, такие маленькие, словно из страны Оз.

Неожиданно, стал нарастать шум улицы. Машины и люди издают много раздражающих звуков. Хотя сам люблю всех раздражать, чем только смогу, ненавижу, когда отвлекают.

Поколачивает, с нарастающей силой. Я, знаю, что сейчас уйду...

Вы бы перед смертью, что делали? Сволочное, состояние. Просто начал читать, что ближе к телу. ,,Дети бегают по ржаному полю". Я, сам ребенок, бегущий неизвестно куда.

Зашел в эту жизнь под звуки разрывающихся бомб и уйду под револьверную пальбу.

Так надо господа. Да и жизнь была не из спокойных, что уж говорить о смерти.

Взять ту же Йоку.

Бомба, нет самолет с японской камикадзевкой направленный на цель. То есть на меня. Она была выше. Парила. Коснулась только моей головы и взорвала ее напрочь.

Быть с Йоко, любить всю Японию.

Цели у нее не было, рвала пространство близлежащее. В разные стороны, всю материю кромсала. Перла вперед, как истребитель- Зеро.

Заведенный механизм. Но, мне с ней было неимоверно хорошо. Все говорили, что она страшная. Для меня красивей, не было женщины. Что, такое красота? Придуманные трафареты. Она мне объяснила, что такое красота. По-своему, конечно, объясняла, как могла только художница.

Расскажу, как все разворачивалось.

Ой, давайте с конца. Или с начала, сейчас определюсь.

Все, начинается так, как все должно и закончиться. Если, я еще, вас не утомил, послушайте. От изначального и до...

...Что бы вы про нас, не думали, мы, просто были ливерпульской шпаной, которая научилась играть на гитарах и орать песни.

Сразу говорю, голоса ни у кого из нас при подростковом созревании не было. Петь мы научились потом. В процессе все образовалось.

Хотя, если я, с детства пел в хоре церкви святого Петра, значит, у меня-то голос был. Хотя, Пол тоже голосил в хоре церкви святого Барнабаса. Значит у двоих, все же слух с голосом имелись в зачатке.

Зовут меня, Джон. Точнее, Джон Уинстон. Второе имя добавили, по каким-то политическим причинам. Родителей трудно понять, что ими движет, когда они дают имена своим детишкам. Конечно, хотелось бы, имечко поромантичней, но какое дали. Вы, же тоже рождаясь, себе имя не выбирали. Это все к нашим предкам.

У меня, их звали Фред и Джулия. Как они познакомились не знаю, но если иметь в виду импульсивность моей мамы и безбашенность папы, то как всегда экстравагантно.

Когда папа Фред, пришел на регистрацию брака, мамы не было. Она как обычно зависала в кино.

Он, прождал пол часа и, наверное, раздраженно ругаясь, пошел в местный кинотеатр ,,Трокадеро,, где и нашел свою возлюбленную, смотрящую вестерн и лопающую бутерброды с колой.

Мама, Джулия, долго не могла оторваться от фильма.

-Что, за дела? Как можно бросить такое прекрасное занятие, ради чего? - Она, дико возмущалась, применяя нецензурные выражения. Потом вспомнила, что надо замуж и все пошло своим ходом.

Вот почему я, могу сказать крепкое словцо. Мамины, гены. Умею виртуозно браниться, на подсознательном уровне. Хотя этому делу меня научила, одна девчонка с Пенни-лейн, лет в десять. Не помню, как её звали, ну не важно.

Папа-Фред, был морячек на корабле, ходившем по всему свету. Вроде бы бывал в Африке и Америке. Он, про себя был высокого мнения. Капитан, считал, его лучшим, стюардом. Это он так говорил. Вот и все, что про него помню. Вообще с родителями мне дико повезло. Они не жили друг с другом. До трех лет я, находился с мамой. Смутно всплывает в памяти, как она играла на банджо. Эти звуки сопровождали все мое детство. После разрывов фашистских фугасов при рождении, поверьте, хороший фон.

Банджо стало основой моего творческого вдохновения.

Мое младенчество, прошло под звуки банджо и разрывы бомб.

Это наложило отпечаток на тембр, моего голоса. Что бы петь, просто вспоминаю звучание банджо и взрываюсь. Хрипотца, появляется в голосе сама собой. В этой жизни все у меня, получается само собой.

Потом, отдали меня тете, Мими и дяде, Джоржу, которые жили на Менлов-авеню.

Тетя, была сухощавой и строгой, хотя строгость эта скорей была напускная. Часто ее узкие губы начинали подрагивать, и она заливалась жизнерадостным, звонким смехом. Дядя, был просто добрый лысоватый похренист. Любил немножко выпить скотча и покуривая трубочку беседовать со мной на любые темы. Мне с ними было уютно.

Тетя, никогда не разговаривала со мной о родителях, старалась, наверное, оградить мою детскую психику, а она у меня была такая тонкая. Тетя, была необычайно добра со, мной и заботлива. Чересчур. Когда я, пошел в начальную школу в Довдейле, она даже пыталась меня отводить туда. После, вспышки моей истерики, которую, она не выдержала, эта затея улетучилась из её головы. В школу ходил один.

Там мне, сначала даже нравилось, и учеба давалась легко. Потом это дело мне начало надоедать, словно каждый день ешь одно и тоже пирожное.

До четырнадцати лет, Мими, мне давала пять шиллингов на неделю. В воспитательных целях. Чтоб ценил деньги. Это было очень мало. Просто ни на что не хватало. Так что пришлось сколотить свою банду и доставать деньги другими путями. Торговля сигаретами в школе это было самое милое из наших дел.

Сколько помню себя в начальной школе, драка была мое нормальное состояние. Кто был сильнее меня я, шел в психическую атаку как камикадзе. Орал, придумывал всякие жестокие расправы, и противник сдавался. Верил, что и правду с ним это произведу.

Когда мы попадались, на своих детских шалостях, типа стырить что ни будь из магазина, или стянуть с девчонки трусы, одна тетя Мими, ничего не узнавала. Родители моих друзей и учителя, считали меня законченной сволочью и ублюдком.

В двенадцать лет, перевелся в среднюю школу "Кворри Бэнк". Когда в первый день, пришел туда глядя на эти сотни лиц, сначала стало грустно "Это ж, черт побери, придется подраться с каждым отдельно и со всеми вместе что бы заработать уважение."

Здесь не то, что в "Довдейле", парни попадались жесткие и жестокие. Рубились по-взрослому. Больно было, как никогда. Но, агрессия перла из меня, как вода из пожарного брандспойта. Желание стать лидером, было превыше всего. Стремление руководить всеми перло из меня, как трава весной.

Вы спросите, откуда появилось творчество? В семь лет начал писать всяческие рассказы. Для своих друзей выпускал журналы с анекдотами и комиксами. В "Квори", постоянно натыкался на непристойные стишки на стенах и бумажках в партах. Подумал, что сам что ли такого не смогу? Написал матершинную поэмку. Вот учителя, писали в потолок от радости, когда нашли её в моей тетрадке. Тете, об этом было тут же доложено. Отпирался, что есть сил. Писал не я, рука не моя.

Что, касается учебы, тут у меня пошло все очень плохо. Абсолютный идиотизм, выполнять все задания. Пришлось дома врать, как профессиональному сказочнику.

Если в двенадцать лет, я был один из сильных учеников, то к тринадцати съехал в поток "В". Если кто не знает, то из хорошистов в середнячки.

Дневник изобиловал фразами "Паясничает. Грубит учителям. Безнадежно туп. Мешает учиться, другим ученикам"

А, мне было пофиг в абсолюте.

Что, удивительно дома, тетя меня не ругала. Она только один раз меня побила, когда спер у нее из сумочки деньги на сигареты. Это был, конечно, перебор.

Вот в это время, в моей жизни опять появилась мама Джулия. Она была улыбчивой, чернявой женщиной с угловатой, подростковой фигурой. С первой же встречи стала общаться со мной на равных. Воспринималась поэтому теперь она, как старшая сестра.

Мама, оказывается, через тетю постоянно следила за моим становлением, то есть падением.

Мими, стращала, меня по поводу учебы отчислением и прочими ужасами. Джулия, напротив появившись, стала открыто смеяться вместе со мной и моими дружками, над учителями. Теперь, я понимаю, так она хотела со мной подружится. Как, новый кандидат в президенты быстро и надежно завоевать дешевую популярность у избирателей.

Это сработало. Мои друзья были без ума от нее. Джулия была своя в драбадан. Она жила в Аллертоне и мы часто стали сбегать с уроков и шли к ней. Воспитанием тут и не пахло. Она любила приколоться, когда шла с нами гулять.

Один раз надела штаны на голову, а штанины спустила на плечи, как шарфик. Джулия делала вид, что не понимает, отчего прохожие шарахаются от нее в разные стороны. Мы ржали. Другой раз надела очки без стекол и останавливала встречных, под каким ни будь предлогом. В разговоре с ними просовывала палец через оправу и начинала тереть глаз. Столбняк на прохожих нападал просто дикий. Теперь, понимаю, именно тогда она направило мое бунтарство в нужное русло.

Напротив, в школе дела все ухудшались и превратились под конец в огромную задницу. Меня перевели в поток-С, к самым отсталым дебилам и даунам. На их фоне появилось ощущение не уютности. Наконец-то мне, стало стыдно. Немножко. Но унынию не было места. Надо жить и получать от этого удовольствие.

Помню тогда, учитель математики, едко ухмыляясь в жесткие, как сапожная щетка усы, написал в моем дневнике.

- Его, определенно ожидает провал- все. Точка. Финиш.

Тут у толстого, желчного директора, дико ненавидевшего детей, появилась идея направить меня в Художественный колледж. Проще всего избавиться от балласта. Такая уж у нас система образования.

-Этот раздолбай, еще и рисует?

Тетя была не против.

-Хуже уже не будет.- обреченно махнула сухонькой ручкой. Чёрные, как маслины глаза совсем потухли.

Так меня, в семнадцать лет, спихнули учиться на художника.

Там не надо было творчества, одна аккуратность. Я, любил мешать краски, как коктейли. От меня требовали, правильных цветов. Казалось, весь мир обернулся против меня.

Сейчас оглядываюсь на школьные годы, без всякого сожаления

Время показало, что они оказались неправы, а не я. Это они провалились. Я, конечно, стал агрессивным, но был счастлив.

Все-таки, детство у меня было обхохочешься.

Глава 1.

На волне рока.

15 июня 1956год.

Жаркое лето. Проснулся ближе к одиннадцати. Вчера играли на вечеринке. Ничего не заплатили, зато ели и пили по свободному.

Комнатка у меня, не большая, но уютная на втором этаже. Мими, владеет половиной небольшого домика.

Здесь, есть даже проигрыватель. Правда, с пластинками суховато. Только Билл Хейли. Но это дело наживное. Достану. Пока приходится ходить на ярмарку и слушать Пресли на музыкальных автоматах.

Денег никогда не хватает. Вынужден постоянно занимать. Задолжал почти всем знакомым довольно приличную сумму. Отдам, когда разбогатею. Мечтаю стать эдаким чудаковатым миллионером. Работать на фабрике всю жизнь, вызывает позывы рвоты. Только как стать богатым? Мысль только одна - женится на миллионерше. Больше на ум ничего не приходит. Я, балбес и бездарь, а из этого денег не сделаешь.

Подхожу к зеркалу. Симпатичный стройный парень. Немного восточный разрез глаз. Наверное, один из папиных генов, впитал энергетику экзотических стран и передался мне.

Темные волосы, уже почти отросли до нужной длины. Скоро будет получаться причёска, как у Элвиса. Надо привести себя в порядок. Сегодня праздник в приходской церкви Уолтон и мы там выступаем. Группа называется "Кворимен"(рабочий карьер). Состав постоянно меняется, как в пчелином улье. Одни улетели, другие приземляются.

Я, лидер в банде, поэтому, как только мне кто ни будь надоедает, устраиваю искусственный конфликт и выпинываю придурка. На сегодня роли распределены таким образом.

Я и Эрик Гриффитс - гитара. Ленн Гарри и Колин Хансон - ударные. Правда ударные, сильно сказано - банки из-под чая, по которым, надо долбасить пальцами. Пит Шоттон - стиральная доска. Найджен Уалли, тоже гитара иногда, но в основном наш менеджер. Договаривается, где выступать и за сколько денежек. Короче, стандартный набор для скиффл группы.

Чем хорош скиффл - можно играть на чем угодно, а таланта и музыкальных знаний почти не надо. Даже на гитаре можно жарить, зная всего два аккорда.

Исходя из таких возможностей буквально за год после возникновения этого направления, группы начали образовываться как грибы после дождя. В каждом классе, школе, подворотне. Музыка перестала быть собственностью музыкантов. Любой мог пойти и попробовать. Обезьянам дали краски. Рисуйте, авось получится стоящая картина. Мы тоже поймали эту волну. За полгода кое, что начало получаться.

Еще раз подхожу к зеркалу, поправляю прическу. Влезаю в ушитые до невозможности джинсы. Поверх натягиваю широкие штаны, для тети Мими, а то она мне устроит концерт, почище нашего и никуда не отпустит. Надеваю черный пиджак. Закидываю парусиновый чехол с гитарой за спину и беру небольшую сумку. Спускаюсь по скрипучим ступенькам и иду на кухню. Тетя, копошится у плиты и напевает под нос, какое-то старье.

-Мими, дай денег - строю гримасу пай мальчика.

-Джонни, еще только воскресенье, неделя не началась. - как три года назад внезапно скончался дядя Джорж от кровоизлияния в мозг, она стала намного строже. Мими, притворно хмурится - так ты на следующей неделе попросишь деньги в субботу, а на следующей в пятницу, что это за торопливость?

-Мне надо сегодня. Мы выступаем в церкви на празднике. Может, придется сделать благотворительный взнос.

-Так я, тебе и поверила. - возмущается Мими - Джон, ты совсем докатился, превратился в настоящего "Тедди-боя" Эти стиляги такие мерзкие и ты становишься похожим на них.- она выдерживает паузу, что бы я, прочувствовал её мудрые наставления - Надеюсь из 30 шиллингов, хоть один пойдет на пользу.- монеты получены, моё тело пулей вылетает на улицу, мозг догоняет.

Недалеко находится магазинчик старика Гарри. Пока был жив дядя Джорж, он частенько посылал меня туда за пивом. Хотя Гарри, знает, что дядюшки давно нет, отпускает мне, алкоголь несмотря на то, что, еще несовершеннолетний.

Покупаю три банки ирландского, крепкого пива. Одну для себя, остальные для желающих. Алкоголь помогает снять напряжение при выступлении. Первые выходы на сцену, заканчивались почти провалом для меня. Тело застывало гипсовой статуей. Руки дрожали, пальцы попадали мимо струн. Ритм то срывался резвым жеребцом, то спотыкался, словно наткнувшись на автоматную очередь. Голос неожиданно отказывался выходить из горла. Словно открывал кран, а воду выключили - один сипящий воздух.

Выпивал что ни будь, горячительного и превращался почти в Пресли. Движения легкие, раскрепощенные. Ритм четкий, зажигательный. Голос скользил свободно, скоростным локомотивом. Тут меня, уже было не остановить. Энергия передавалась всем, кто слышал и видел. Пит, старался встать на сцене, со своей стиральной доской в центре. А где вставал я, там и был центр.

Подходя к автобусной остановке, непроизвольно достаю одну банку из сумки, открываю и делаю первые глотки. Пожилая женщина, с чопорно поджатыми губами и в бесформенном платье, недовольно уставилась. Мужчина-инвалид, лет 35, без ноги до колена, на костылях, хмуро насупился. Две недовольные собаки.

Полдень, жарко.

Одним духом доканчиваю пиво. Бросаю банку в урну. Мимо. Она со звоном катится по серым булыжникам мостовой.

-Подними - сурово басит дядя.

- Не подумаю. Что валяется, то не поднимается - ехидно ухмыляюсь в ответ.

-Да ты, сопляк, вообще несовершеннолетний еще, а пьешь спиртное. Сейчас сдам тебя в полицию - заводится с пол оборота мужчина.

-Попробуй, если догонишь. Что на одной ножке тяжело бегать? Эх, что люди не делают, лишь бы от армии отвертеться.

Дядька, разражается многоэтажным, бульдожьим матом. Тетка, подхватывает, злобной моськой. Ну вот, настроение поперло, боевое. Не дожидаясь красного, как пожарная машина двухэтажного автобуса, топаю по направлению к церкви. Наверное, меня уже заждались. В затылок пулями, бьют свинцовые слова, рассерженных тупиц. Лениво оборачиваюсь.

-Да пошли вы, уроды - лай поднялся на пол октавы выше. Все-таки, слух у меня есть.

Завернув за угол, снимаю широкие штаны, остаюсь в узких джинсах. Вот теперь можно и выступать.

Гитара мерно ударяет по спине в такт быстрым шагам. Когда начали возникать группы, остро захотел научиться играть. Попросил, маму купить мне гитару. Она купила, за десять фунтов. Обалденские бабки.

На ней внутри была надпись. "Гарантировано, что нет трещин".

Начал пробовать играть, абсолютно ничего не выходило. В детстве, Джулия хотела, чтобы я, брал уроки игры на фортепиано, но все что было связано с "уроками" вызывало тошноту. Всегда хотелось немедленных результатов, не требующих ни каких усилий.

Но музыкальный опыт, все же был. Лет в восемь, дядя Джорж, подарил пластмассовую, губную гармошку, оранжевого цвета. Дудел на ней, где возможно. Скоро понял, что можно дуть, как из себя, так и обратно. Звуки получались разные. Однажды на ярмарке увидел, как клоун, прикрывая, и тряся рукой, извлекал из инструмента вибрирующие звуки. Попробовал, получилось. После этого, начал играть незатейливые мелодии, в том числе и собственного сочинения.

Однажды летом поехали на автобусе в Эдинбург, к другой тете, сестре Мими. Сейчас, даже не вспомню, как её звали.

Дорога, казалась долгой и я, все время наяривал на губной гармошке то, что приходило в голову и то, что получалось. Все пассажиры кривились, как от зубной боли и хотели меня тихо придушить, где ни будь за задними сиденьями. Лишь один кондуктор, лысый дядька, с большими седыми усами, был в восторге. Когда мы доехали, он умильно улыбнулся.

-Приходи завтра на станцию, я подарю тебе настоящую губную гармошку.

Всю ночь, не спалось. С самого, раннего утра побежал на автобусную станцию, Кондуктор, оказался хозяином своего слова. Инструмент был профессиональный. Выполнен из красного дерева. Отделан металлическими пластинами и инкрустирован перламутром. Радости моей не было границ. И звук был в тысячу раз красивей и насыщенней. Как можно сравнить автомобильный писк клаксона и гудок океанского лайнера?

Вот такой был у меня музыкальный опыт, когда взял в руки гитару.

Старался и так и эдак. Получалось полное дерьмо.

И опять, мама мне помогла. Показала аккорды на банджо. Перестроила струны и я быстренько на учился играть. Гитара превратилась в банджо.

Теперь у нас в группе гитара и гитаро-банджо. Полный абордаж.

Подойдя к церкви, увидел праздно шатающуюся разношерстную толпу. Все ходили разряженные во все лучшее, изображая из себя респектабельных граждан. Сбоку от здания, стоял грузовик, повернутый задом на зрителей. Вот значит сегодня, будет какая сцена. Что ж не привыкать.

Мои ребята стояли у кабины и украдкой покуривали. Пит, как обычно рассказывал старые, бородатые анекдоты и сам над ними смеялся. Сегодня тут был и Айвен Вон.

Он, иногда играл с нами. Тоже гитара, но в последнее время исполнял роль менеджера, соревнуясь с Найджелом.

Болезнь скиффл групп. Гитаристов хоть отбавляй, настоящего ударника ноль. То же самое было у всех. Доходило даже до десяти гитаристов. Ударная установка стоила бешеных денег, плюс никто не умел на ней играть. Настоящий ударник- элита группы. Настоящей рок группы, а не скиффл.

Как только, я появился, Айвен призывно замахал рукой и засветился рождественской ёлкой.

"Не уж то ударника раскопал?" - появилась радостная мысль.

Подойдя, поздоровались. Похлопали друг друга по плечам. Культовое приветствие перед выступлением.

-У меня сюрприз. Сегодня познакомлю с человеком. Играет фантастически. - Айвен поднял большой палец.

-Ударник?

-Нет, гитарист.

-Ладно, потом... после, выступления познакомь - сразу потерял к нему интерес. Обманулся в своих надеждах.

- Кто ирландское будет?

Все жеманно подергали плечами и отрицательно замотали головами.

-Как хотите. - зашел за грузовик и выпил банку за два раза.

-Ну, что едем? - вышел к компаньонам через некоторое время. Настроение стало необычайно легким. Залезли в открытый кузов и стали играть.

В первый раз, экспериментировал. То становился к зрителям лицом, то одним боком, то другим. Наблюдал, какой произвожу эффект. Мы на жаре потели, как поросята и орали как они же.

Лучше всего получилась песня- Magic May(магия может). Пел её, слегка изменив слова. Слегка, это громко сказано. Помнил несколько фраз. Остальные, сам досочинил.

Аплодисменты, были наградой.

За выступление, получили десять шиллингов. Мелочь, но елеем по сердцу.

Уже не спрашивая у ребят, за автомобилем засадил в один мах, последнюю банку пива. Просто, побывал в пустыне Сахаре. Пить очень хотелось.

Выйдя из-за машины, дружков не увидел.

Зайдя в церковный холл, обнаружил всех своих.

Среди них, стоял пацан, в белом спортивном пиджаке и в дрызг зауженных брюках. Тогда мне показалось, что ему лет десять. Кукольное личико. Коровьи глаза. По манере говорить и слащавой улыбке, понял - этот малыш, очень даже хитрожопый.

"Если буду с ним играть, то надо взять, в жесткую узду"

Мальчишка, играл и пел, обалденско.

Пригляделся. Аккорды он ставил необычайные и пальцы порхали, как бабочки по цветкам. Сначала не понял, что в нем было не так. Он, держал гриф гитары в другую сторону. Левша что ли?

Парни, перед ним столпились кучкой. Непробиваемой, словно танковая броня.

Пришлось зайти сзади. Заглянул через плечо, как он играет?

Совершенно не понятно. Но звук и голос резали скальпелем по живому.

После песни, малыш опять начал хвастаться, как нужно играть.

"Если мы, будем вместе, надо будет держать его в узде, - опять возникла та же мысль - в жесткой узде. Зазнайка, какой-то"

Но он, был хорош. Красавчик просто.

После "Be Bop a Lula(Будь Боп а Лулой)" стал исполнять по настоящему "Twenty Fligt Rock(Рок двадцатилетних)".

Все были в шоке. Так, я слышал только на пластинке.

Навис над ним почти вплотную и дышал в ухо. Потом узнал, что он про меня тогда думал

"Что тут делает, этот старый алкаш? Воняет на меня, целым пивным заводом"

Ну, выпил я, тогда немного, мелочь какая.

Когда же он, исполнил небольшое шоу - Литтл Ричарда, холодок мелкими крошками льда, начал кристаллизоваться в животе.

У всех челюсти скребанули по шлифованному, гранитному полу.

-Ты настоящий знаток, "Twenty Flight Rock", это тоже моя любимая вещь - только и сумел выдавить из себя.

-Джон, познакомься, это Пол. - Айвен, гордо ухмыльнулся - Плохого человека к тебе не приведу.

-Я, наблюдал за тобой, - глядя на меня, улыбнулся пацан - ты играешь не так как надо. Это все же гитара, а не банджо. Вот смотри на аккорды. Малыш, начал быстро показывать каскад головокружительных трюков с пальцами на струнах.

Группа гимнастов, виртуозов цирка, начали крутить кульбиты на турниках, трапециях и проволоке.

От кайфа и выпитого пива, у меня начала кружиться голова. Пока мы стояли с открытыми ртами, парнишка удалился. Произведенный эффект стоил затраченной энергии.

Да, это был Пол. Он, всегда любил нагнать на себя умный вид.

"Такой шпанёнок, а так играет". Мысль была двусмысленна для меня.

В груди появилась, какая-то досада. Это чувство помешало, принять решение сразу.

Но он был так хорош. Вылитый Элвис, в детсадовском возрасте.

Только через неделю после выступления, на вечеринке, сказал ребятам, что бы пригласили его, в группу.

На следующий день Пит, подошел ко мне в школе.

-Вчера ехал на велосипеде и видел Пола. Позвал к нам. Он, с радостью согласился.

-Сегодня вечером выступаем на танцах в "Консерватив Клаб", найди его и передай, пусть приходит.

Глава 2.

Яичница, на кухне.

Новичок, появился в "Консерве" раньше всех. Мы по одному подходили, народ подтягивался парочками.

Перед выступлением, выпили немного пива. Отыграли превосходно. Пол исполнил свой коронный номер "Twenty Flght Rock". После исполнения, все долго хлопали. Все-таки забавный мальчонка. Он, меня начинает притягивать.

После того, как зал опустел, пошли домой не сразу. Пол, сидел на стуле и сосредоточенно перебирал струны. Затем поднял голову и обратился только ко мне.

-Я, вчера вещь сочинил, "I Lost My Little Girl"(Я, потерял свою маленькую девчонку). Оцени.

Исполнял Пол, непринужденно красиво. Голос приятный, мягкий. Песня была спокойная, мелодичная, но, в общем то средненькая. Дело было в другом. Её сочинил парнишка, который сидел перед нами. Это было похоже на волшебство. Сам, я только дописывал куплеты к известным песням. Что бы сочинить мелодию, такого даже в голову не могло прийти.

Пол, закончил играть и опять обратился ко мне.

-У меня, есть еще. А, ты какие написал? Покажи - в его взгляде было превосходство. Сразу захотелось треснуть его, в лобешник, но сдержался.

-Поздно уже. У меня еще важная встреча, ну ты понимаешь - многозначительно подмигиваю - Давай приходи завтра. Где-то, после обеда. Покажу тебе свои сочинения.

-Хорошо, приду. Говори куда - а у самого глаза издевательски смеются. "Ну, посмотрим, что ты, сможешь там показать"

Просто взбесил, своей ехидной ухмылкой.

"Вот, говнюк, я тебе покажу на что способен. Ишь, зазнайка, только он, может сочинять. Другие так, пустое место" - крутилось в голове циркулярной пилой, всю дорогу.

Придя, домой, лихорадочно начал творить. До пяти часов утра, наваял парочку уродцев. Обессиленный, тяжким трудом, бухнулся на кровать и провалился в липкий сон.

После полудня, Пол приехал на велосипеде с гитарой за спиной. Мими, стояла на крыльце.

-Можно, мне пройти к Джону?- захлопал глазками новый знакомый.

-Нет - неотразимое обаяние, на тётю не подействовало.

-Тогда позовите, его, пожалуйста - в голосе появились, детские нотки.

-Нет. Займитесь лучше учебой, молодой человек - Мими, была непреклонна, как статуя правосудия.

Если б не услышал голоса, под окном, встреча могла, не состоятся. Подскочил с кровати, поднял раму.

-Сейчас выйду. Подожди - крикнул вниз.

Быстро одеваюсь, хватаю гитару и воробьем вылетаю на улицу. Тётя хмуро встречает на крыльце.

-Сам в "тэдди-боя" превращаешься и дружков таких же себе находишь.

-Это Пол. Он кстати в институте учится. (Институтом Механики, в Ливерпуле, называлась средняя школа с техническим уклоном)

-Я, своими глазами вижу, кто он. Порядочный мальчик, в таких узких брюках и с такой прической не может ходить.

Под дикий взгляд Мими, стаскиваю маскировочные, широкие штаны и бросаю на мостовую. Мои ушитые джинсы повергают, её в ступор. Словно на глазах её Джон, превратился в дьявола.

-Ох - только и смогла она, произнести, прикрыв рот ладошками.

-Поехали - усаживаясь, на багажник велосипеда, тороплю Пола. Пока, Мими не отошла надо быстрей сматываться.

Минут за тридцать доехали до Аллертона, Фортлин-роуд. Пол, жил в домике, стоящем в низине. Невзрачный, но чистый и аккуратный. Стены внутри были не заштукатурены, голый кирпич.

-Чем хорошо, папа до ночи на работе. Можно делать что угодно - доверительно сообщил, Пол.

-У тебя, поесть, что ни будь найдется? А, то не успел перекусить - хлопаю по животу.

-Яичницу будешь?

-Ага.

-Сколько яиц? - проходя на маленькую кухоньку, спрашивает, он.

-А, сколько есть?

-Пять.

-В самый раз на двоих.

-Я, не буду, ел уже.

-На одного тогда вообще хорошо.

Без зазрения совести смел все, что приготовил гостеприимный хозяин, вытер сковородку куском хлеба. Я, не знал, что папа Маккартни, получал мало и всегда ругал Пола и его брата Майкла за то, что они съедали без разрешения. Поэтому я и лопал один.

После перекуса, пошли в его комнату. Там стояла тумбочка и две кровати.

-Это брата, Майкла. Садись туда - махнул рукой на одну из них.

-А, это что такое? - Показал на проводки, идущие под подушки каждой кровати.

-Это радио. Папа провел, что бы мы с Майклом быстрее засыпали и поменьше дрались перед сном. Очень хорошо, воспринимать музыку.

-Здорово, я себе так же сделаю.

-Да, удобно. Иногда по выходным одну музыку гонят. Лежишь себе, слушаешь и не надо переворачивать, как пластинки.

-Да, класс.

-У тебя, папа, где работает?

-Представитель хлопковой компании. Ходит, предлагает образцы клиентам. Получает маловато.

-А, мама чем занимается?

-Умерла недавно. Рак груди - он увел взгляд вниз.

-Прости. Дикость, какая-то. Как ты можешь после этого еще играть на гитаре?

-Если бы не стал играть, то сошел бы с ума. Только это меня, и спасло - с какой-то одержимостью, обжег своим взглядом. Сейчас это были не глаза коровы, а упрямого быка. Ледяные мурашки пробежали по спине. Да, этого парня я, совсем не знаю. Он, не так прост, как показалось в первый раз.

-Ну, давай свои вещи - словно ничего не произошло, произносит, Пол.

Мы сидим с гитарами, друг напротив друга на кроватях. Словно передо мной, зеркало. Он, был левша и гриф держал правой рукой. Такое ощущение, что перед тобою сидит двойник.

Сосредотачиваюсь и вспоминаю. Играю ту ерунду, которую насочинял ночью.

-Нууу, ничего, нормально для первого раза - произносит, кисло морщась - У меня, первые еще хуже получались. Вот смотри, сегодня с утра прикатило...

Веселенькая мелодия, зазвучала в стиле вестерна. Мне понравилось.

-А тебе слабо? - после исполнения начал подначивать, задорной улыбкой.

-Да, запросто - мотив неизвестно откуда, появляется в голове. Пальцы сами собой начинают выбивать ритм. У него глаза, зажигаются, рождественскими лампочками.

-Совсем неплохо. Только начало надо по-другому, смотри - получилось еще лучше - А теперь давай вместе - Играем в две гитары. Совсем вышло клево.

-Давай еще раз повторим только, я буду немного по-другому - подхватываю соревнование.

После двадцать первого повтора получилась чудесная вещица.

-Слова давай дома придумаем. Каждый свои. Потом сложим и уберем лишнее - предлагаю вариант.

-Хорошо, это интересно получится.

С Полом, у нас и правду все получилось. Срослось сразу, как скрипка и смычек.

Мы не сочиняли, а бились. Словно вместо гитар были шпаги и мы дрались не на жизнь а на смерть.

Каждое новое произведение мы хором начинали как гимн.

- Еще одна великолепная композиция Джона Леннона и Пола Маккартни! Поехали!

В ближайшие пару лет, мы были заняты тем, что узнавали друг друга. Вместе прогуливали школу. Собирались у, Пола. Ели яичницу, сочиняли. Если слышали, где ни будь новую гармонию, тут же создавали песню.

Однажды, Пол смотрел по телевизору, как "Тени" подыгрывали Клиффу Ричарду.

Мы слушали, какие отличные вещи, они записали на пластинке "Move It (двигайся)", но все не могли понять, как они это делают. Пол, смотрел телевизор и все понял. Он, выбежал из дома, захватив гитару, прыгнул на велик и помчался ко мне. Мими, уже начала пускать его в дом.

-Понял- Пол с криком, ворвался ко мне в комнату, и сходу начал показывать свое открытие. Мы, не мешкая, начали заниматься. Так оттачивали свое мастерство. Просто фанатики.

Секрета, никакого не было. Моя агрессия соединилась с его очарованием. Музыка рождалась, очаровательно агрессивная. К тому же мы сочиняли не только в четыре руки, но и в четыре полушария.

То, что получалось, играли на всевозможных церковных праздниках, в рабочих клубах, на вечеринках.

Пит Шоттон и его стиральная доска, все больше меня раздражали. Никакого чувства ритма. Тер на ней как сумасшедшая прачка, в критические дни. Однажды играли на свадьбе. Накурились травки и выпили немного пива. В перерыве обратился к нему.

-Пит, что ты наяриваешь, на своей терке, как в жопу раненая рысь?

-Сам ты, рысь. Нормально играю. Слушайте лучше анекдот.

-Про, кондуктора?

-Ага. Гы, гы.

-Да ты его сегодня уже пятый раз рассказываешь.

-Ну и что? Смешно же.

Все начали хихикать. Глупее всех, Пит.

Такого издевательства, моя душа вынести больше не могла.

Схватил, стиральную доску и треснул его по башке.

Все еще громче заржали.

Пит, лежал с обломками доски на шее и плакал. Было дико весело. После этого в группе он, больше не появлялся.

Да, пока мы курим траву, у психиатрии есть будущее.

В репертуаре Кворримен, все больше появлялись наши с Полом, песни.

За период с 1956 по 1959 мы наклепали около шестидесяти. Ни чего выдающегося в них не было. Просто творческая тренировка. Только одна из этих вещей, вошла потом в наш репертуар - "Love Me Do(люби меня)".

Глава 3.

Стю и Джорж.

Осенью в 1957 перешел в Художественное училище. Появился там, в неимоверно узких джинсах и черном пиджаке. Учителя сразу начали домогаться, что бы изменил внешность, но я, игнорировал эти нападки.

Думал, тут займусь любимым делом, но распределили, на шрифты. Выписывать буквы, было сплошной скукотищей. Зато, ребята и девчонки были интереснее, чем в школе.

Взять хотя бы Стюарда Сатклифа. Он, учился со мною на одном курсе. Яркая личность. Худощавый, нервный, со вкусом одевался. Часто носил темные очки. Мы с ним быстро подружились. Я, черпал от Стю, новые идеи. Он, учил смотреть по-другому на мир.

Стал таскать его, с собой на репетиции и выступления. Подколы с моей стороны, сначала его пугали. Потом привык.

В училище я, только отмечался. Стю, начав таскаться с нами, продолжал писать картины. Он, предоставил несколько полотен на выставке Джона Мурса и получил премию в шестьдесят фунтов. Бешеные бабки. Пока он, размышлял, как распорядится деньгами, я нашел им применение.

-Стю, дружище, что ты лучше бы купил, бас гитару или ударную установку?

-Ну не знаю, я бы, конечно, хотел... - не даю сконцентрироваться.

-Вот ты, на чем хотел бы играть?

-Мне, бас гитара ближе.

-Правильно, старик молодчина.

-Да, я же играть не умею.

-Не писай в штанишки. Научим. Ты, главное гитару купи. Остальное, мелочи.

Вся наша банда с энтузиазмом приняла эту идею.

-Конечно, научим, старик, в чем вопрос. На басе так на басе.

Хотя нам нужен был и бас и ударные, право выбора было за Стю.

Так у нас появился бас.

Стю, совершенно не умел играть. Мы, показали ему все что умели сами и он довольно быстро научился сносно подыгрывать. Но стеснялся своей техники постоянно. Когда играл, отворачивался от зала. Был всегда зажат и скромен на сцене, как первоклассник.

В это же время Пол привел в группу, Джоржа. Он, был совсем мелким, всего четырнадцать лет.

Я, состроил, брезгливую гримасу.

-Что тут у нас детский сад что ли?

-Да ты, послушай, как он играет - затараторил, Пол.

В тот вечер вместе с нами играла группа, в которой был здоровский гитарист, Эдди Клейтон.

-Пацан, если сейчас сыграешь не хуже Эдди. Возьмем тебя к себе.

Джорж, исполнил "Raunchy"(Плотоядно). Хороший, зажигательный инструментал.

-Ну что ж, годится, пацан - я, с видом большого босса кивнул.

-Меня зовут, Джорж.

-Годится, Джорж. Сейчас эту вещь и сыграешь.

-С удовольствием.

В отличии от, Пола, Джорж старался мне во всем угодить. Привлечь мое, внимание. Но он воспринимался слишком маленьким. Ему было всего четырнадцать.

Сначала даже стеснялся, что он играет со мной. Хотя мастерства у него было больше, чем у нас двоих.

Играл лучше нас, на порядок.

Итак, у нас были две акустические ритм гитары - я и Пол.

Злектро Бас в лице Стю, и лидер гитара - Джорж.

Многие группы в Ливерпуле, начали вооружатся аппаратурой. Надо было от них не отставать. Гонка вооружения прямо.

Два усилителя с колонками, выбили из совета колледжа, якобы для танцев. Заодно и магнитофон, ужасно дорогую вещь. Тоже, как бы для всех студентов. На нем записывали себя и потом прослушивали.

В зале для собраний, во время обеда репетировали.

Еще была проблема- название группы. В "Квори Бэнк" мы уже давно не учились, надо было придумывать что-то новое.

Как мы только не назывались. То так, то сяк. Выходили порой с названием, которое первое приходило в голову.

Однажды вышли как "Радуга", потому что были в разноцветных рубашках.

Когда в Ливерпуль, прибыл известный "открыватель звезд", Керрол Левис, мы стали "Лунные псы".

Левис, прибыл искать таланты, для выступления в телевизионном шоу, которое будет проходить в Манчестере.

Он приехал к нам, чтобы провести прослушивание. Все Ливерпульские группы ломанули на аудиенцию, как нищие за бесплатной похлебкой.

Действие происходило в театре "Эмпайр". Заявку делал Джорж. Вот было наше удивление, когда он получил письмо с приглашением на шоу в Манчестер, для группы "Мундогз". Он, так нас заявил. Даже у меня разрешения не спросил. Вот постреленок.

Пришлось поставить условие.

-Группа будет называться - "Джонни и Мундогз". Кто хочет возразить? - Хмуро посмотрел на Джоржа. Все с радостью приняли предложение. Джорж, чуть в ладошки не захлопал.

Наконец то для нас, появилась возможность, засветится на телевидении.

Все упиралось в финансы. Денег у нас было, только что бы доехать до Манчестера и обратно. У многих групп, были свои машины. Но, а наша любимая машина была - поезд.

Шоу начиналось в 16-00 Прибыли в Манчестер, вовремя.

С гитарами за спиной, прошли за кулисы. Групп было около сорока. Народу в зале битком.

Как корабельные гаубицы, водили стволами две телекамеры. Они, стояли в проходах, не далеко от сцены. Мы подглядывали в зал через щелку в декорациях. Мандраж был ужасный. Предложил, ребятам.

-Может, пива выпьем?

-Ты, что - сделал страшные глаза, Джорж — это же телешоу!

- Что, мамочка по телевизору запах учует?

-Да, у нас и денег-то нет. Только на обратную дорогу - вздохнул, Пол.

-Да, это точно. Финансы, поют романсы.

Кстати, кто не знает, это выражение придумал я, когда было семь лет. У меня, с детства нелады с деньгами.

Выступали, двадцать третьими. Спели пару своих песен. Успех был весьма умеренный.

Оставалось ждать результатов.

Программа была выстроена таким образом. По окончании, каждая группа выходила и исполняла несколько тактов из своего номера. Зал хлопал или сидел на ладошках. Громкость аплодисментов замеряли хитроумным аппаратом. У кого стрелка показывала больше децибел, тот и становился победителем.

Поезд на Ливерпуль, уходил через пол часа. Действие по определению победителей еще не начиналось. Ребята начали нервничать.

-Были бы деньги на гостиницу, пофиг. Где ночевать будем. В подворотне? Замерзнем - занюнил, Джорж.

-Была бы машина. Переночевали бы в ней. Да, хреново. Поехали домой - подхватил скулеж, Пол.

-Что Ты скажешь? - повернулся к Стю.

-Я, как все. Поехали домой пока поезд не ушел - пожал плечами.

-Ну, что вы за маменькины сыночки. Как вот с такими уродцами, станешь звездой?

Одно слово - детишки.

Всю дорогу пока ехали в Ливерпуль, ругал их последними словами. Ребята молчали, уткнувшись в окно. Вагон мотало, цыганской кибиткой. Колеса выстукивали разные мелодии. В ночи мелькали одинокие огоньки. На станциях смотрители, звонили в колокольчик.

Эта поездка была для нас большим разочарованием. Еще одна возможность, упущена.

После неудачного выхода в свет, мы неделю не собирались. Депрессия, навалилась, холодным, осенним туманом.

Глава 4.

Синтия и Джулия.

В художественном училище, познакомился с Синтией. Девушка из богатой семьи. Приличный район, с той стороны реки. Выкидыш буржуазии.

Глазастая, белокурая пай девочка.

Когда мы ругались в классе, Синтия морщилась. Порой затыкала уши ладошками. У меня даже была шутка, когда она, заходила в класс.

-Тихо без мата, Синтия пришла - все начинали угорать, хихикать и строить ей рожи.

Когда на неё начал наезжать Мохаммед, я врезал ему по морде. Здоровый верзила, арабской национальности. Он, не ответил. Понял, что могу просто убить.

Над Синтией, мог смеяться только, я.

Сначала, Синтия, меня сторонилась. Потом начала поглядывать. Как-то на школьной вечеринке пригласил её потанцевать. Любовь захлестнула штормовой волной.

После танцев пригласил погулять

Шли по ночному городу. Она была в клетчатом пальтишке и черной, шерстяной беретке. Болтали ни о чем.

-Джон, ты почему щуришься постоянно? Проблемы со зрением? Я, ведь тоже близорукая.

-А, почему очки не носишь? - спросил, глядя в голубые глаза.

-Стесняюсь. Так же, как и ты.

-Я, не стесняюсь. Если один раз оденешь, будешь носить всегда. Не представляю себя в очках.

-Слабо одеть самые уродливые? Например, кругленькие велосипедики?

-Не сейчас. Не готов еще - пожал плечами и постарался переменить тему - Почему тебя на шрифты бросили, ты же отличница?

-Мне нравится красивые буквы выписывать. А тебе разве нет?

-Мне так же хочется заниматься шрифтами, как прыгать с парашютом.

-То есть не нравится?

-Конечно, нет. Я люблю рисовать людей.

-Видела твой рисунок. Женщина склонилась над коляской. Умильно улыбается, а в коляске уродец. Бррр. У тебя больная фантазия.

-Фантазия и должна быть больной. От здоровой, какой толк? Ты знаешь, что мы с Питом, чуть магазин не обворовали?

-Не пойму тебя. Когда ты серьезно говоришь, а когда дурачишься.

-Правда. Хотели ограбить продовольственный магазинчик. Даже ночью следили. Но так и не решились грабануть. Кишка тонка.

Мы шли с ней по ночному городу, держась за руки. Просто болтали и нам было хорошо.

Перешли мост и незаметно подошли к её дому.

У подъезда как-то не принужденно начали целоваться. Стояли в небольшом выступе здания. Большие кирпичные блоки, нас нежно приютили, приняли нас, как стены родного дома.

Целовались все горячее. Становилось все жарче и уютней.

-Не надо - выдохнула она.

-Конечно - ответил в тумане.

Синтия, оказалась заводной девушкой. Главное, я нашел, куда вставить ключик.

Вечер закончился довольно мило. На прощанье пригласил её в кино.

-Давай завтра сходим, на какой ни будь фильм в "Трокадеро"?

-Конечно. Ты, Джон без очков будешь смотреть? - потом, её ехидная улыбка меня не раз выводила из себя.

-Да.

-Ты же ничего не увидишь - учителка в первых классах была добрее.

-Не заводи меня. Я, сам знаю, как мне смотреть - потом успокоился и предложил - Пойдем на вечерний сеанс?

-Конечно - и все еще раз повторилось, с возрастающей силой...

На следующий день в кино мы не пошли. Потому что, со мною случилось самое страшное в моей жизни.

В то воскресенье, я был в доме у Джулии. Дома был её муж, которого я, про себя звал Дергунчиком.

В дверь постучали. Открываю, стоит легавый.

Дальше все происходит, как в кино.

-Кем вы являетесь Джулии Леннон?

-Сын.

-Давно вы её видели?

-В среду.

-Её сбила машина. На смерть. Проедемте в больницу "Сефтон Дженерал"

Все мои истерики начинались с ледяного спокойствия.

Сначала, я замерз арктическим айсбергом. Когда сели в такси меня прорвало. Стал нести какую-то чушь. Орал на таксиста, как будто это он был во всем виноват. Водитель лишь кивал мне в ответ.

Когда приехали в больницу, не смог идти дальше. Увидеть её мертвой, было выше моих сил. Всего трясло, как мокрое белье на ветру.

Дергунчик, пошел. Через некоторое время вернулся белый, словно вымазанный мелом.

Трагедия произошла возле нашего дома. Мими, потом мне показывала. Почти рядом с нашим крыльцом. Каждый раз, проходя мимо этого места, становится невыносимо плохо.

Смерть Джулии сблизила меня с Полом еще больше.

Если скажу, что мне было плохо, значит, ничего не скажу.

Я, упал в омут депрессии. Смотрел на любую девушку и сравнивал ее с Джулией.

Агрессия удвоилась. Просто взвелась в квадрат. На меня что-то нашло и я не мог остановится.

Однажды, даже не помню, как было. Очнулся, луплю, Синтию в коридоре училища.

Уборщица кричит.

-Оставь её. Что ты нашла в этом ублюдке!

Схватившись за голову, Синтия убежал на улицу.

О маме ни с кем больше ни говорил, даже с Мими. Эта рана не заживала всю жизнь. Самая страшная трагедия всей моей жизни.

У нас в училище секли за неуспеваемость и ерничество.

Когда меня бил розгой препод, я улыбался. Вспоминал о Джулии. Она была замечательной мамой. Никогда меня не била.

Нейдел Уалли, последний говорил с Джулией перед смертью. На его глазах она погибла.

С ним даже ни разу про это ни заговаривал. Наверное, Джул, сейчас хорошо. Она святая.

За несколько месяцев до трагедии, сидели с Полом и Джоржем на кухне. Рубали фасоль с тостами. Непроизвольно выражал свои мысли.

-Просто не понимаю Пол, как ты можешь сидеть с нами и жрать эту лабудень. У тебя умерла мама, а ты играешь с нами всякие веселые песенки. Если бы со мной такое случилось, я бы сошел с ума.

Пол, ковырялся вилкой в тарелке и даже не поднял головы.

-Надо, как-то жить - прошептал в ответ.

-Ты идиот. Нельзя так жить, когда мать умерла.

Ну вот, Джулии нет, а я живу. Странная штука жизнь. Почему-то стал после трагедии ненавидеть девушек. Они живут, а мамы нет. Дикая несправедливость.

Всех знакомых телок, стал дико ненавидеть. Брал у всех взаймы деньги. На жареную картошку выпивку, курево. Никогда не отдавал. Они были счастливы. Общался с ними, и они были счастливы.

Бывшая подружка, Тельма, всегда меня спонсировала. Если сейчас выставит счет, с процентами, то мне придется отдать ей все свои сбережения.

Мы играли по пацаничьи, но у нас уже появились поклонники.

Сузи, доставала меня везде. Она плакала, если ее посылал. Мелюзга, пятнадцать лет.

-Отстань, малолетка. Вытри сопли и иди учить уроки. - но она таскалась за мной по всем выступлениям. Потом подросла, и превратилась в нормальную домохозяйку. Не видел больше её. Девочки со временем превращаются в обыкновенных тёток.

Но с Полом и Джоржем мы сблизились как настоящие мушкетеры. Правда, Джоржа очень долго воспринимал, как салабона.

-Джон пошли в кино, сходим? - предложил как-то Джорж.

-Занят до нельзя - отрицательно махнул ему в ответ. Стеснялся сначала его, хоть малыш и играл на гитаре, как бог.

Кстати, интересно вошел в дом к Джоржу. Он, жил на Аптон-Грин. Двухэтажный приличный домик.

Когда шли к нему в первые знакомится с его родичами все время думал, как произвести на них эффект?

Джорж, открыл резную, массивную дверь и мы вошли в прихожую.

— Это Джон - проголосил он, в пустую комнату

Откуда-то раздавались обалденно вкусные запахи. Ноги сами собой понесли на аромат еды

-Мама, знакомься, это Джон! - еще раз прокричал Джорж.

Зайдя на кухню, увидел улыбающуюся женщину. Что на меня нашло не пойму.

-Здравствуйте миссис Харрисон - громко выдал и изобразив неуклюжий поклон, чуть не упал на нее. У окна стоял диванчик и мы плюхнулись прямо на него. Миссис Харрисон, оказалась теплой и с веселыми глазами.

-Что тут происходит, чёрт подери - ударило мне в спину свинцовой шрапнелью.

Это, вовремя зашел папа.

Когда обернулся, увидел мужчину с выпученными глазищами и крючковатым, как у вороны носом.

-Извините, ик, споткнулся. - встал и изобразил реверанс. В этой семье, надолго стал записным клоуном.

-Иногда это происходит. - ухмыльнулся папа Джоржа и пошел в комнату.

-О кей папа. Все в порядке, это Джон. - только и успел кинуть ему вдогонку Джорж.

Наши репетиции стали проводится теперь не только у Пола.

Мама Джоржа любила слушать, как мы играем. Она одна из наших родителей, истинно в нас верила. Может это потому, что, чуть на неё не упал?

Она так же, как и я, была немного сумасшедшая.

Глава 5.
Сильвер Битлз.

Мы, потом часто стебались, откуда взялось наше название. Пол, нес фигню, что прилетел волшебник на ковре самолете и сказал его нам. Джорж, что услышал это во сне.

Ринго, вообще молчал как ночной горшок. Его в то время с нами не было.

Дело было так.

Все мы любили группу Бадди Холи. Крикетс- сверчки.

У всех она была на устах. Все только про нее и говорили. Блин, как я не додумался назвать нашу группу - Сверчки. Надо придумать что-то соответствующее.

Жуки. Только переделаю транскрипцию - Beat - удар. Beatles- ударные жуки, клево.

На репетиции выдал.

- Мы будем Серебряные жуки. Бит жуки. Ударные жуки.

Все согласились. Попробовали бы, не согласится. Отметелил бы сразу.

Мы порепетировали под новым именем ещё пару раз — и я начал замечать, как слово «Битлз» будто обрастает мясом. Сначала оно звучало как шутка, потом как вызов, а теперь уже

почти как судьба. Но судьба, знаешь ли, любит посмеяться над теми, кто слишком серьёзно к себе относится.

— Слушай, Джон, — Пол как-то в перерыве между прогонами «Love Me Do» вдруг сел на край стола и уставился на меня так, будто собирался выдать какую-то страшную правду. — А если нас никто не захочет слушать? Ну, вот серьёзно. Мы играем в гаражах, на церковных праздниках, в «Консерватив Клаб», где половина публики приходит не ради музыки, а чтобы потанцевать и напиться. Что, если дальше этого не пойдёт?

Я сделал вид, что очень занят настройкой гитары — дёргал колки, будто от этого зависела жизнь человечества. На самом деле пальцы слегка дрожали. Не от страха, нет. От злости. На весь этот мир, который вечно шепчет: «У тебя не выйдет».

— Если нас никто не захочет слушать, — буркнул я, не поднимая глаз, — значит, мы будем играть так громко, чтобы они не смогли не услышать. Даже если придётся стоять на каждом углу Ливерпуля и орать в пустые консервные банки.

Пол хмыкнул:

— Консервные банки — это у нас уже было. В «Кворимен» Пит вообще на стиральной доске играл.

— Вот именно! — я наконец поднял голову и ткнул в него пальцем, как будто поймал на чём-то важном. — Мы уже прошли через стиральные доски. Дальше — только сцена. Настоящая. С усилителями, с микрофонами, с людьми, которые приходят специально нас послушать. А не просто потому, что в церкви праздник.

Джорж, который в этот момент пытался выковырять застрявший медиатор из-под струны, вдруг тихо сказал:

— А если… если нас позовут в Гамбург?

Мы все замерли. Даже гитара в моих руках будто перестала звенеть.

— В Гамбург? — переспросил я. — Это где немцы?

— Ну да, — Джорж пожал плечами, как будто речь шла о соседней улице. — Там, говорят, много клубов. И там платят. Немного, но платят. И публика другая. Не тётушки с церковного праздника, а люди, которые хотят драйва.

Я почувствовал, как внутри что-то щёлкнуло. Как будто кто-то повернул ключ в замке, который я сам себе поставил. Гамбург. Другой город. Другая страна. Другая жизнь.

— Значит, надо туда попасть, — сказал я спокойно, хотя сердце колотилось так, что, наверное, его слышали даже в соседнем квартале. — Если там хотят драйва — мы им дадим такой драйв, что у них уши в трубочку свернутся.

Пол посмотрел на меня с этой своей полуулыбкой, в которой всегда было немного насмешки и много уважения:

— Ты всегда так говоришь: «Мы им покажем». А потом мы выходим на сцену, ты делаешь два шага, замираешь, и у тебя руки трясутся так, что струны гудят сами по себе.

— Это не от страха, — огрызнулся я. — Это от напряжения. Как у пружины. Я просто жду момента, когда можно будет распрямиться.

— Ага, — кивнул Пол. — И распрямляешься так, что половина зала вскакивает, а другая половина падает со стульев.

Мы рассмеялись. И в этом смехе было что-то важное — не просто веселье, а ощущение, что мы вместе. Что бы ни случилось, мы в одной лодке. Даже если эта лодка скрипит, течёт и вообще больше похожа на дырявое корыто.

После репетиции я пошёл домой один. Пол укатил на велосипеде, Джорж побежал к родителям — помогать с магазином, а я шёл по улицам Ливерпуля и смотрел на всё другими гла-

зами. Будто город вдруг стал декорацией к фильму, в котором я — главный герой. Только фильм этот я сам и снимаю. И сам же пишу сценарий.

Тетя Мими, как всегда, стояла у окна и смотрела, не иду ли я. Она делала вид, что ей всё равно, но я знал: она волнуется. Просто не умеет показывать это по-другому.

— Опять поздно? — спросила она, едва я переступил порог. — И опять от тебя пахнет пивом.

— Я взрослый, — буркнул я. — Почти.

— Взрослый не прячется от своих дел, — отрезала она. — Взрослый отвечает за свои слова.

Я хотел было огрызнуться, но вдруг остановился. Потому что она была права. Я столько раз кричал: «Мы станем знаменитыми!», «Мы покажем всем!», а что я сделал для этого? Играл на вечеринках, пил пиво перед выступлением, чтобы не тряслись руки, и думал, что этого достаточно.

— Знаешь, Мими, — сказал я тихо, — мы придумали новое название. Теперь мы — «Битлз».

Она нахмурилась, будто пыталась разгадать какую-то загадку:

— «Битлз»? Это что, жуки?

— Да, — кивнул я. — Жуки. Только не обычные. А такие, которые кусаются музыкой.

Тетя вздохнула, но в её глазах мелькнуло что-то похожее на улыбку:

— Надеюсь, они не будут кусаться слишком больно.

Я улыбнулся в ответ — впервые за долгое время искренне:

— Не переживай. Больно будет только тем, кто не захочет нас слушать.

На следующий день мы собрались у Пола. Его отец был на работе, брат Майкл ушёл гулять, и дом был наш. Мы сидели на кухне, пили чай из больших кружек и обсуждали, как нам попасть в Гамбург.

— Надо найти кого-то, кто нас туда устроит, — говорил Джорж, размахивая ложкой, как дирижёрской палочкой. — Может, у кого-то есть знакомый промоутер? Или владелец клуба?

— Или мы можем просто сесть на корабль и приплыть туда, — предложил я. — Как пираты. Только вместо мечей у нас гитары.

Пол фыркнул:

— Пираты с гитарами. Звучит как название для худшего фильма года.

— Зато запоминается, — парировал я. — Люди будут говорить: «Ты видел этих парней? Они приплыли на корабле, чтобы играть рок!»

Мы снова смеялись. И в этом смехе была наша сила. Не в идеальных аккордах, не в безупречном ритме, а в том, что мы не боялись выглядеть глупо. Мы были готовы на всё — даже на то, чтобы сесть на корабль с гитарами и плыть в неизвестность.

И вдруг Пол сказал:

— А давайте запишем демо. Просто на магнитофон. Сыграем «Love Me Do», «Twist and Shout» — всё, что у нас есть. И разошлём по клубам. Может, кто-то откликнется.

Я посмотрел на него так, будто он только что изобрёл машину времени:

— Демо? Ты серьёзно?

— Абсолютно, — кивнул он. — Мы же не можем просто прийти и сказать: «Привет, мы крутые, дайте нам сцену». Надо показать, на что мы способны.

Я задумался. В этом был смысл. Настоящий, взрослый смысл. Не просто кричать и махать руками, а делать дело.

— Ладно, — сказал я. — Давай запишем. Но предупреждаю: если запись получится плохой, я скажу, что это из-за твоего магнитофона.

Пол закатил глаза:

— Конечно. Всё всегда из-за чего-то другого. Только не из-за нас.

— Именно, — ухмыльнулся я. — В этом и есть секрет успеха. Всегда есть виноватый, кроме тебя самого.

Мы снова рассмеялись — и принялись за дело.

Запись получилась… ну, скажем так, честной. В ней было всё: и наши ошибки, и наша энергия, и тот самый драйв, о котором говорил Джорж. Когда мы прослушали её в конце, я сидел, уставившись в стену, и думал: «Это мы. Со всеми нашими недостатками, со всей нашей наглостью, со всем нашим желанием быть услышанными».

— Ну что, — сказал Пол, выключая магнитофон, — отправляем?

Я кивнул. Рука немного дрожала, когда я брал катушку с плёнкой. Но на этот раз это была не дрожь страха. Это была дрожь предвкушения.

— Отправляем, — сказал я. — Пусть весь мир знает, кто такие «Битлз». Даже если сначала он будет знать это только потому, что мы сами ему об этом расскажем.

Глава 6. Жуки расправляют крылья

Август 1960-го. Конец лета. Жара ещё держалась, но уже сдает позиции, как боксер в последнем раунде. Мы сидели у Аллана Уильямса в его клубе на Слим-Лейн, и он вещал, как пророк на горе. Аллан был небольшого роста, шустрый, с вечно бегающими глазами, как будто он всю жизнь искал, где что плохо лежит. По сути, так и было. Он искал, где лежат таланты, и продавал их подороже. Он уже отправил в Гамбург одну группу, и она вернулась с деньгами. Для нас — достаточное основание.

— Мальчики, — Аллан раскинул руки, будто обнимал весь мир. — Гамбург. Это вам не Ливерпуль. Там клубы, там публика, там платят.

— Сколько? — сразу спросил Пол. Он всегда первым спрашивал про деньги. Я первым тратил, а он первым спрашивал. Баланс сохранялся.

— Два фунта и десять шиллингов в день. На всех.

Мы переглянулись. Два пятьдесят в день. В Ливерпуле на церковном празднике мы получали десять шиллингов за выступление, и это считалось удачей. А тут — каждый день. Семь дней в неделю. Математика простая: в неделю выходит около семнадцати фунтов. На пятерых. По три с лишним на брата. Не то чтобы золотые горы, но и не стиральная доска Пита Шоттона.

— А играть сколько? — подал голос Джорж. Он всегда спрашивал про работу. Правильный мальчик. В отличие от меня — я спрашивал, где наливают.

— Четыре сета за вечер. С восьми тридцати до двух ночи. С перерывами, конечно.

— Четыре сета? — я присвистнул. — Это ж четыре часа на ногах. Мы ж не шахтёры.

— В Гамбурге все шахтёры, Джон, — улыбнулся Аллан. — Только некоторые с гитарами.

— А где жить будем? — Стю задал вопрос тихо, почти шёпотом, но от этого он звучал серьёзнее всех остальных.

— Есть комната при клубе. Небольшая. Но бесплатно.

— Небольшая — это насколько? — не унимался Стю.

— Для пятерых — достаточно, — Аллан помедлил. — Ну, может, тесновато.

— Тесновато — это как? Как в телефонной будке или как в гробу? — полюбопытствовал я.

— Это как в гримерке перед концертом, — отрезал Аллан. — Если будете задавать слишком много вопросов, место займут другие.

Вот в этом весь Аллан. Никаких обещаний, никаких гарантий, чистый бизнес. Либо берёте, либо уходите. Мы взяли. Потом Алан сопровождал нас до самого Гамбурга.

Письмо пришло в среду. Обычный конверт, серый, помятый, будто его пинали по всему Ливерпулю, прежде чем бросить в наш ящик. На нём стоял немецкий штемпель, и от одного этого слова — «Hamburg» — у меня внутри всё подпрыгнуло, как струна, по которой щёлкнули пальцем.

Я разорвал конверт прямо на крыльце, не дожидаясь, пока тётя Мими начнёт читать мне нотации за то, что я опять стою на сквозняке. Внутри лежал листок, исписанный угловатым, почти военным почерком:

«Господа музыканты. Клуб «Indra(по немецки- Индия)». Гамбург. Платят мало, работать много. Играть шесть ночей в неделю. Если не боитесь — приезжайте. Контакт: Бруно».

— Ну что там? — Пол выглянул из-за моего плеча, как будто боялся, что письмо исчезнет, если он моргнёт. — Это оно?

— Оно, — прохрипел я, сам не узнавая своего голоса. — Нас зовут в Гамбург.

Пол выдохнул, будто до этой секунды вообще не дышал:

— Значит, едем.

— А если это шутка? — подал голос Джорж, который стоял чуть поодаль, сжимая ремень гитары так, будто она могла улететь. — Ну, знаешь, какой-нибудь местный комик решил посмеяться над ливерпульскими парнями…

— Если это шутка, — отрезал я, — то я буду смеяться последним. Потому что мы всё равно поедем. Даже если окажется, что «Indra» — это гараж, где дядя Бруно хранит картошку.

Стю только молча кивнул. Он вообще редко говорил, когда речь шла о чём-то по-настоящему важном. Но по его глазам я видел: он тоже готов.

Перед отъездом оставалась одна проблема. Пит Бест. Нет, не Пит Шоттон с его проклятой стиральной доской. Другой Пит. Наш новый барабанщик. Мы познакомились с ним за пару недель до Гамбурга. Тихий, красивый парень с волосами, зачёсанными назад, как у Элвиса. Мама Пита, миссис Бест, держала кафе «Касба» в Ливерпуле, и это кафе было чем-то вроде штаба местной музыкальной тусовки. Все группы играли там, и все знали миссис Бест. Она была женщина деловая, энергичная, и когда увидела нас, сразу решила: эти парни далеко пойдут. Или, по крайней мере, далеко уедут, уплывут, улетят.

— У моего Пита есть барабаны, — сказала она мне однажды, когда я заходил в кафе за бесплатным кофе, который мне наливали, потому что я умел очаровать кого угодно. Хотя бы на пять минут.

— И? — я ждал подвоха.

— И он играет.

— Хорошо играет?

— Ты послушай и сам решишь.

Пит действительно играл. Сдержанно, ровно, без фокусов. Не как барабанщик из оркестра, но и не как горилла, которая колотит по кастрюлям. Нормальный барабанщик. Для нас после банок из-под чая и стиральных досок это был качественный скачок.

— Годится, — сказал я, когда Пит отыграл пару вещей. — Поедешь с нами в Гамбург?

Пит посмотрел на маму. Мама кивнула. Пит кивнул. Сделка заключена. Без контракта, без рукопожатий. Одно слово. В те времена этого хватало.

Теперь нас было пятеро. Я и Пол — ритм-гитары. Джорж — соло. Стю — бас. Пит — ударные. Полный комплект. Наконец-то.

Собрались за два дня. Вещей — минимум: гитары, запасные струны, пара футболок, бритва (которую я всё равно забыл бы, если бы Мими не сунула её в карман моего пиджака с таким видом, будто вручает мне рыцарский меч).

— Ты понимаешь, что это опасно? — Мими стояла в дверях, прямая, как штык, и смотрела на меня так, будто пыталась взглядом прибить к полу. — Ты едешь в чужую страну. Без денег. Без плана. С этими… мальчиками.

— Это не мальчики, — буркнул я. — Это группа. И мы едем играть.

— Играть! — она фыркнула, как кошка, которой наступили на хвост. — А жить ты на что будешь? На аплодисменты?

— На шиллинги, — парировал я. — Нам обещали платить. Мало, но платить.

— Мало — это когда хватает только на хлеб. А тебе вечно нужно ещё и на пиво, и на новые струны, и на всякую ерунду.

Я хотел огрызнуться, но вдруг остановился. В её словах была правда — горькая, колючая, но правда.

— Мими, — сказал я тихо, — я должен это сделать. Если я сейчас не поеду, я потом всю жизнь буду жалеть.

Она помолчала, глядя куда-то мимо меня, будто видела не меня, а того маленького мальчика, которого когда-то брала за руку и вела в школу. Потом вздохнула и протянула мне конверт. В нём лежали десять фунтов.

— Не трать всё сразу, — произнесла она, не глядя на меня. — И пиши. Хоть строчку в месяц. Чтобы я знала, что ты жив.

Я взял деньги, чувствуя, как к горлу подкатывает ком, который я никогда не смог бы проглотить.

— Спасибо, — прошептал я. — Я напишу. Обещаю.

До парома добирались на велосипедах — Пол, Джорж и я. Стю, Пит и барабаны ехали в кузове старого грузовика, который вёз ящики с рыбой; водитель был дядей кого-то из знакомых и согласился подбросить.

Ветер хлестал по лицу, трепал волосы, забирался под куртки. Я гнал вперёд, чувствуя, как адреналин смешивается с холодом и делает меня почти невесомым. Будто я уже не ехал, а летел.

На пароме было шумно, тесно, пахло рыбой и мокрым железом. Мы стояли у борта, смотрели, как Ливерпуль тает вдали, превращаясь в серую полоску на горизонте.

— Ну вот, — сказал Пол, стараясь говорить небрежно, но голос у него дрожал. — Мы это сделали.

— Сделали что? — хмыкнул я. — Пока только сели на корабль. Это ещё не подвиг. Подвиг будет, когда мы заставим немцев танцевать под «Love Me Do».

Джорж улыбнулся, но улыбка вышла натянутой:

— А если они не поймут? Ну, нашу музыку…

— Поймут, — твёрдо сказал я. — Музыка — она как драка. Её не надо понимать. Её надо чувствовать. Если у них сердца бьются — они поймут.

Паром отчалил из Ливерпуля восемнадцатого августа. Мы стояли на палубе — пятеро парней с гитарами, чемоданами и без единого шанса на то, что нас встретят с оркестром. Алан пошёл в бар. Он всю дорогу держался обособленно.

Ливерпуль таял в тумане, как старый сон. Я смотрел, как город становится всё меньше, и думал: вот сейчас я уезжаю от всего, что знаю. От Мими, от школы, от улиц, где дрался и учился играть. От дома, где мама Джулия показала мне аккорды на банджо. От всего.

И знаешь что? Мне не было грустно. Мне было страшно. Но не так, как раньше, когда перед выступлением колени превращались в желе. Нет, это был другой страх. Живой, горячий, как первый глоток крепкого пива. Страх, который заставляет двигаться вперёд, а не замирать.

— Ну что, — сказал Пол, откидывая волосы со лба, — едем покорять Европу.

— Европу? — хмыкнул я. — Для начала покорим Гамбург. Там, между прочим, не знают, кто мы такие.

— Скоро узнают, — тихо сказал Стю.

Я посмотрел на него. Стю стоял у борта, и ветер трепал его тёмные волосы. В его глазах отражалось море — серое, неспокойное, как он сам. Стю был из тех, кто говорит мало, но, если говорил — лучше слушать. Я прислушался.

Дорога до Гамбурга была длинной, тряской и пахла бензином. Мы ехали в старом фургоне, который мы раздобыли непонятным образом и который, по звуку двигателя, был ровесником первого автомобиля Карла Бенца. Колёса выстукивали ритм, который не совпадал ни с одной нашей песней. Разве что с «Love Me Do», если сыграть её в три раза медленнее и с провалами на поворотах.

Каждый из нас занимался своим. Пол листал блокнот с текстами и что-то бормотал, шевеля губами, как молился. Джорж спал, свернувшись калачиком на заднем сиденье, прижимая гитару, как ребёнок прижимает плюшевого медведя. Пит молча смотрел в окно. Стю рисовал что-то в своём блокноте — он всегда рисовал, даже в дороге, даже в темноте, рисовал по памяти, по ощущению.

А я смотрел на дорогу и думал. Не о музыке. О том, что будет, если мы провалимся. Вернёмся в Ливерпуль, побитые, без денег, с хвостами позади. Снова будем играть на церковных праздниках за десять шиллингов. Снова я буду врать Мими про оценки. Снова буду засыпать с мыслью: а что, если всё это зря?

Но потом я вспомнил лицо учителя математики, который написал в моём дневнике: «Его определённо ожидает провал». И внутри полыхнуло. Ярко, как бенгальский огонь.

— Не провалимся, — сказал я вслух, ни к кому не обращаясь.

— Что? — Пол поднял голову от блокнота.

— Ничего. Записываю идею для песни.

Гамбург встретил нас дождём и шумом. Город казался огромным, чужим, немного враждебным — как будто он заранее решил, что мы тут лишние. Но именно это мне и нравилось. Чем больше город сопротивлялся, тем сильнее хотелось его покорить. Гамбург не собирался нас жалеть. Он вообще никого не жалел — это я понял в первые же полчаса. Город пах углём, морем и сигаретным дымом, будто всю ночь тут кто-то курил, спорил и не спал. Улицы были узкие, как щели между зубами, и в этих щелях гулял ветер, который, казалось, специально выискивал, где у тебя расстегнута куртка, чтобы залезть прямо под рёбра и там посмеяться.

Район назывался Репербан. Я не знал этого тогда, но это была улица красных фонарей. Не в смысле, что тут горели красные фонари, а в смысле — всё вокруг было пропитано этой самой ночной жизнью, от которой добропорядочным гражданам лучше держаться подальше. Неоновые вывески мигали, как нервные глаза. Из дверей клубов лилась музыка, из кабаре — смех, из баров — запах пива и чего-то покрепче. На тротуарах стояли девушки в ярких платьях, которые смотрели на нас с любопытством, будто мы были очередной диковинкой, которую привёз Гамбург для развлечения.

— Весёлый район, — заметил я, обходя лужу размером с небольшое озеро. — Церковные праздники отдыхают.

— По-моему, тут вообще всё отдыхает, кроме совести, — усмехнулся Джорж, пытаясь закрыть гитару чехлом от дождя.

— Совесть — это роскошь, Джорж. Для нас — непозволительная, — я подмигнул ему. — Запоминай адрес. Это теперь наш дом.

Клуб «Indra» оказался не в центре, а на окраине. Фонари горели тускло, будто стеснялись собственного света. Вывеска над входом мигала, поминутно гасла и снова вспыхивала, как нервная лампочка в дешёвом фильме. Он оказался не клубом, а чем-то средним между подвалом и пещерой, где по ошибке поселили людей. Потолок нависал так низко, что, если бы я подпрыгнул, наверняка оставил бы на нём прядь волос. Стены были выкрашены в цвет старого чая, а сцена — в цвет старой беды: тёмно-коричневая, с облупившейся краской и таким количеством царапин, будто на ней каждую ночь дрались коты.

Бруно Косшмидер — владелец «Indra» — оказался невысоким, плотным мужичком, с лицом, на котором застыло выражение вечного недовольства. Он посмотрел на нас, как фермер смотрит на только что купленных коров: и не рад, и не огорчён. Просто оценивает.

— Вы — «Битлз»? — спросил он с акцентом, который превращал каждое слово в маленький кирпич.

— Они самые, — кивнул я, расплываясь в улыбке, которую в Ливерпуле называли «улыбка Джона Леннона: мило, но опасно».

— Сколько песен знаете?

— Достаточно, — ответил Пол, всегда готовый к деловому разговору.

— «Достаточно» — это не ответ. Сколько?

Мы переглянулись. Честно? Мы знали штук сорок. Но играть четыре сета каждый вечер — это значит, нужно минимум пятьдесят-шестьдесят. Иначе повторяться придётся по три раза за ночь.

— Пятьдесят, — соврал я. Пол посмотрел на меня так, будто я только что подписал нам смертный приговор. Джорж побледнел. Пит промолчал. Стю кивнул, как будто пятьдесят песен — это нормально.

— Хорошо, — Бруно кивнул. — Сеты: первый — с восьми тридцати до девяти тридцати. Перерыв. Второй — с десяти до одиннадцати. Перерыв. Третий — с одиннадцати тридцати до двенадцати тридцати. Перерыв. Четвёртый — с часу до двух. Каждую ночь. Семь дней в неделю. Без выходных. Вопросы?

— Один, — поднял я палец. — А где мы живём?

Бруно повёл нас за клуб, через узкий коридор, пахнущий хлоркой и старыми газетами. Он открыл дверь, и мы увидели нашу «комнату».

Это было… ну, как бы помягче сказать. Это был чулан. Нет, хуже. Это была комната, в которой чулан показался бы просторным. Две койки, прижатые к стенам так плотно, что между ними можно было пройти только боком. Окно — размером с тетрадный лист. На стенах — обои, которые когда-то были цветными, но давно потеряли волю к жизни и стали цвета грязной воды. Запах — смесь плесени, старого пота и чьих-то несбывшихся надежд.

Пятеро парней. Две койки. Считайте сами.

— Это… временно? — с надеждой спросил Джорж.

— Это — пока вы не заработаете на лучшее, — отрезал Бруно и ушёл, не добавив больше ни слова.

Мы стояли и смотрели на наши новые хоромы. Пол первым нарушил тишину:

— Ну, по крайней мере, спать придётся в две смены. Пока двое спят, трое играют. Идеальный график.

— Ты всегда найдёшь во всём позитивчик, — проворчал я. — Даже в тюрьме ты бы нашёл, чем заняться. Сочинял бы баллады о решётке.

— А ты бы придумал, как из неё сбежать, — парировал Пол.

— Чёрт возьми, да. И сбежал бы первым.

Стю тихо сел на койку и достал блокнот. Он уже рисовал. Я заглянул через его плечо — он набрасывал контуры комнаты. Голые стены, узкое окно, две кровати. Но в его рисунке всё выглядело… не таким мрачным. Будто он видел что-то, чего не видели остальные.

— Ты что рисуешь? — спросил я.

— Нашу жизнь, — ответил он просто. — Может, когда-нибудь это будет интересно.

— Ну, — сказал я, оглядываясь, — похоже, мы дома.

— Дома? — переспросил Джорж. — Тут даже стульев нормальных нет.

— Зато есть сцена, а сцена — это всё, что нам нужно. И вообще — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал так, будто мне всё равно, — давайте ставить аппаратуру и побыстрее, пока я не решил, что лучше бы мы остались в Ливерпуле и торговали сигаретами в школе.

Пол хмыкнул, но в глазах у него плясали те же искры, что и у меня: смесь ужаса и восторга.

— Ты всегда так: сначала «мы покорим мир», потом «а может, ну его?».

— Это не «ну его», — огрызнулся я. — Это реализм. Реализм с гитарой.

Джорж молча таскал усилители, будто боялся, что если он заговорит, то скажет что-то вроде «а давайте домой». А Стю просто смотрел на сцену, как будто видел там не доски, а будущее. Иногда мне казалось, что он знает больше, чем говорит. И это пугало чуть ли не сильнее, чем сам Гамбург.

Первый вечер. Семнадцатое августа. Мы стояли за кулисами «Indra» и ждали. Зал был не большим, человек на шестьдесят. Но для нас, которые привыкли играть в церкви перед тридцатью бабушками и тремя пьяными дядьками, это было почти как «Альберт-холл».

Перед выходом я сделал то, что делал всегда: залпом выпил полбанки пива. Для храбрости. Хотя, если честно, в этот раз храбрость нужна была не мне. А всем нам. Мы стояли в чужом городе, в чужом клубе, перед чужими людьми, и единственное, что у нас было, — это гитары и наглость. Наглости, правда, у меня хватало на всех.

— Готовы? — спросил я.

— Нет, — честно ответил Джорж.

— Отлично. Значит, точно готовы. Идём.

Мы вышли на сцену. Я подошёл к микрофону, посмотрел в зал. Лица. Лица. Лица. Моряки. Работяги. Девицы. Все смотрели на нас с одним и тем же выражением: «Ну, покажите, что умеете, англичане».

— Мы «Битлз», — сказал я в микрофон. — И если вам не понравится — можете кинуть чем-нибудь тяжёлым. Но учтите: мы кинем в ответ. Мы тоже тяжёлые.

Кто-то засмеялся. Кто-то заорал. Кто-то просто уставился. И мы начали играть.

Первый сет был — дерьмо. Чистое, неразбавленное дерьмо. Мы играли «Blue Suede Shoes(Синие замшевые туфли)», «Heartbreak Hotel (Отель "Разбитое сердце)"», «Be Bop a Lula» — всё то, что в Ливерпуле вызывало овации. Здесь же — вежливые хлопки. Как будто аплодировали не нам, а самому факту, что кто-то вообще вышел на сцену.

В перерыве я сидел за кулисами, курил и злился. На себя, на зал, на Германию, на мир в целом.

— Они не понимают, — процедил я. — Им нужно что-то другое. Не то, что мы играли в Ливерпуле.

— А что им нужно? — спросил Пит, единственный из всех, кто выглядел спокойным. Барабанщик. Они всегда спокойные, эти барабанщики. Сидят сзади, стук да стук и им всё равно.

— Гамбургерам, нужен драйв, — сказал Пол, и в этот момент он был прав. Что случалось не всегда, но случалось. — Мы играем, как на вечеринке. А им надо, как на ринге.

— Как на ринге? — не понял Джорж.

— Жёстче, — объяснил я. — Громче. Быстрее. Надо не играть — надо бить. По струнам, по барабанам, по ушам. Понятно?

Они поняли. Потому что второй сет мы начали не с вежливого «Heartbreak Hotel», а с «What'd I Say (Что я такого сказал)» Рэя Чарльза, но в такой версии, после которой сам Рэй, наверное, перекрестился бы. Я орал в микрофон так, что он, казалось, плавился. Пол лупил по струнам, как будто они были виноваты во всех его бедах. Джорж выдавал соло, от которого у гамбургских гитаристов опустились бы руки. Пит молотил по барабанам с такой силой, что я начал беспокоиться за целость ударной установки. А Стю… Стю делал то, что умел: держал бас, как держался в жизни — тихо, но крепко.

Зал начал двигаться. Сначала один столик. Потом другой. Потом все. К концу второго сета люди стояли. Они не сидели. Они не хлопали вежливо. Они топали, свистели, орали. И я понял: вот оно. Вот что значит «покорить зал». Не сыграть правильно — а заставить их забыть, что они в клубе. Заставить их чувствовать, что они на стадионе. Или на ринге. Или в бою.

В перерыве ко мне подошёл моряк — здоровый, краснолицый, с татуировкой на предплечье, которую я разглядел даже в полумраке.

— Ты, парень, — он ткнул в меня пальцем, — орёшь, как будто тебя режут. Это хорошо. Ещё.

И ушёл. Это был лучший отзыв, который мы получили за весь вечер.

К третьему сету мы разогнались так, что тормозить уже не хотелось. Я прыгал по сцене, как сумасшедший, дёргал гитару, махал головой, падал на колени — всё то, что потом назовут «сценическим безумием Леннона». Но это не было безумием. Это был метод. Я видел, как публика реагирует на движение. На агрессию. На смелость. И я давал им это в таких дозах, что у них не было шанса остаться равнодушными.

Между песнями я болтал с залом. В основном на ломаном немецком, который я не знал, и на английском, который они не понимали. Но это не имело значения. Они смеялись. Они хлопали. Они были с нами.

— Was ist das? — кричал кто-то из зала.

— Das ist «Битлз», scheisse! — орал я в ответ, и зал ржал.

К четвёртому сету — с часу до двух ночи — мы играли уже на чистом адреналине. Голос сел, пальцы стёрты до крови, спина болела так, будто по ней проехал грузовик. Но мы не останавливались. Потому что если ты остановишься, они почувствуют слабость. А слабость — это конец.

Последней мы сыграли «Twist and Shout». Я выдал каждую ноту так, будто это был последний аккорд в моей жизни. Может, так оно и было. Потому что после Гамбурга прежним я уже не стану.

Зал взревел. Не захлопал — именно взревел. Как стая зверей, которых только что разбудили.

Когда мы сошли со сцены, Бруно подошёл к нам. Его лицо было, как всегда, непроницаемым. Но в уголках его рта что-то шевельнулось. Может, мышца. А может — улыбка.

— Неплохо, — сказал он. Одно слово. От Бруно это было равносильно рыцарскому титулу.

— Неплохо? — переспросил я, вытирая пот со лба рукавом. — Мы разнесли ваш клуб.

— Именно поэтому — неплохо, — кивнул он. — Завтра — то же самое. И послезавтра. И каждый день. Пока я не скажу «стоп».

— А если мы устанем?

— Усталые тоже играют. Разница только в том, что уставшие играют хуже. А вы не можете позволить себе играть хуже.

Он ушёл. Я посмотрел на ребят. Пол сидел на стуле, уронив голову на грудь, и тихо дышал. Джорж лежал на полу за кулисами, раскинув руки, как звезда. Пит молча протирал тарелки. Стю сидел в углу и рисовал.

— Ну, — сказал я, — мы в Гамбурге. И мы выжили. Первый день.

— Первый день из скольких? — простонал Джорж с пола.

— Из всех, которые будут, — ответил я. — А будут многие. Если, конечно, мы не подохнем от усталости. Что, учитывая наши койки, вполне вероятно.

Дни потекли. Один за другим. Одинаково длинные, одинаково тяжёлые. Вставали поздно, потому что ложились в три ночи. Просыпались — если это можно назвать сном — в тесной комнате, где пятеро парней дышали друг другу в затылок, и воздух был такой густой, что его можно было резать ножом.

— Кто храпел? — спрашивал каждое утро Пол, и каждое утро все указывали на меня.

— Я не храплю, — возмущался я. — Я пою во сне. Это творческий процесс.

— Твой творческий процесс в три часа ночи звучит, как будто кто-то пилит дрова, — буркал Джорж.

Днём мы ели. Еда была простая: хлеб, колбаса, дешёвый кофе. Аллан обещал нам «континентальный завтрак», но континент, видимо, был где-то в другом месте, потому что завтрак больше напоминал тюремный паёк.

— Может, попросим у Бруно чего-нибудь повкуснее? — предлагал Джорж, с тоской глядя на бутерброд, который состоял в основном из хлеба и надежды.

— Бруно даст нам вкуснее только тогда, когда мы начнём приносить ему деньги, — резюмировал Пол. — А пока мы приносим ему шум.

Шум — это было мягко сказано. Второго или третьего вечера, когда мы особенно разошлись, в дверь клуба постучали. Не посетители — соседи. Пожилая немецкая пара, которая жила над клубом и, видимо, рассчитывала на тихий вечер с книгой и какао. Вместо этого они получили «Twist and Shout» в исполнении пятерых ливерпульских парней, которые играли так, будто от этого зависела их жизнь.

— Ruhe! — кричал мужчина, тыча пальцем в потолок. — Ruhe!

— Это «руэ» по-немецки — тишина, — шепнул мне Пол.

— Спасибо, профессор. А я думал, он нас приглашает на чай.

Бруно подошёл к нам с видом человека, который уже пожалел о всех решениях в своей жизни.

— Тише, — процедил он. — Соседи жалуются. Если ещё раз — закрою клуб.

Мы кивнули. В тот вечер играли тише. Но на следующий день снова разошлись, потому что тихо играть — это не к нам. Нас не для того создали.

Через неделю «Indra» закрыли. Не из-за нас. Ну, может, немного из-за нас. Соседи написали жалобу в полицию. Полиция пришла. Бруно развёл руками. Мы стояли на улице с гитарами, без клуба и без работы.

— Ну вот, — сказал я, глядя на закрытую дверь «Indra». — Мы приехали покорять Гамбург и покорили. Ровно один клуб. Который закрылся.

— И что теперь? — Джорж выглядел так, будто у него отняли последнее печенье.

— Теперь — искать другой клуб, — ответил Пол, всегда практичный. — Есть ещё клуб, «Кайзеркеллер». Может, Бруно нас переведёт туда?

Бруно перевёл. Не потому что хотел, а потому что у него не было выбора. Других групп, готовых играть по четыре сета каждую ночь за два пятьдесят, в Гамбурге не водилось.

«Кайзеркеллер» был побольше, получше, посветлее. И соседи там были подальше. Мы перешли туда, как солдаты переносят позицию: обживемся, обвыкнемся, и снова начнём орать.

И мы орали. Каждую ночь. С восьми тридцати до двух. Четыре сета. Семь дней в неделю. Без выходных. Без больничных. Без пощады.

Через две недели я перестал чувствовать пальцы. Через три — голос. Но что-то странное происходило с нами, пока мы играли в этом аду. Мы становились лучше. Не потому что учились — у нас не было времени на уроки. А потому что играли так много, что музыка стала частью тела, как дыхание. Пальцы сами находили аккорды. Голос сам находил ноты. Мы не думали о том, что играем — мы просто играли.

Это была самая жестокая и самая честная школа в мире. Никаких учителей. Никаких оценок. Только зал, который каждый вечер говорил тебе: «Либо ты хорош, либо ты — никто». И ты отвечал.

Через месяц мы звучали так, как не звучал никто в Ливерпуле. Жёстко. Грубо. С той самой хрипотцой, которая потом станет моим фирменным звуком. Не от природы, нет. От Гамбурга. От четырёх сетов в ночь. От сорока песен в вечер. От двух часов крика в микрофон, пока связки не начинают сдавать.

Это был наш звук. Гамбургский. Ливерпульского жука, который научился кусаться.

Однажды вечером, после сета, я вышел из клуба подышать. Ночь была тёплая, безветренная. Репербан гудел: музыка, голоса, смех, гудки машин. Я прислонился к стене, закурил и смотрел на этот город, который стал нам домом. Странным домом, тесным, вонючим, шумным. Но домом.

Из двери клуба выскочил Пол. В руке — блокнот.

— Джон, — он был возбуждён, как всегда, когда его осеняло. — Я придумал. Слушай: «She loves you, yeah, yeah, yeah»(Она любит тебя, да, да, да.).

— «Yeah, yeah, yeah»? — я скривился. — Это же банальность. Это же для детей.

— Для детей? — Пол поднял бровь. — Ты знаешь, сколько детей в этом мире? Миллионы. И каждый из них хочет песню, которую сможет повторить.

Я затянулся, выдохнул дым в ночное небо и задумался. Он был прав. Опять. Это было невыносимо.

— Ладно, — буркнул я. — Но «yeah» три раза — это перебор. Два достаточно.

— Три лучше.

— Два.

— Три.

— Пятьдесят на пятьдесят?

— Нет. Шестьдесят на сорок в мою пользу.

— Пол, ты невозможен.

— Ты тоже, Джон. Но мы — «Битлз». И нам всё можно.

Я рассмеялся. Дым ушёл в ночь, и на секунду мне показалось, что я вижу в нём что-то — может, будущее, может, просто туман.

— Три «yeah», — сдался я. — Но только если завтра дашь мне дописать второй куплет.

— По рукам.

Мы стояли у стены клуба на Репербане, в ночном Гамбурге, два парня с гитарами, с амбициями, с блестящими глазами, и придумывали песню, которая потом разнесёт мир. Мы не знали этого. Мы просто делали то, что умели: спорили, смеялись и писали.

И где-то наверху, в тёмном небе над Гамбургом, может, Джулия смотрела на нас и улыбалась. Хотя я в такие вещи не верю. Вернее, хочу верить. Но не решаюсь.

Как-то после выступления мы вышли на улицу. Город уже не казался таким враждебным. Он всё ещё был тёмным, шумным и немного опасным, но теперь он был нашим. Мы шли по улице, и я чувствовал себя так, будто только что выиграл какую-то важную битву. Не большую. Но свою.

— Знаете, — сказал Джорж, глядя на неоновую вывеску, которая мигала, как больной глаз, — я думал, что будет хуже.

— Хуже будет завтра, — хмыкнул я. — Завтра нам придётся играть ещё шесть часов. И так каждый день.

— И что? — Пол толкнул меня плечом. — Ты же сам говорил: если не можешь играть шесть часов подряд, значит, ты не рокер.

— Я это говорил? — притворился удивлённым я. — Наверное, был не в себе.

— Ты всегда не в себе, — фыркнул Джорж. — Но именно поэтому мы и играем вместе.

Мы рассмеялись. И в этом смехе было что-то важное — не просто веселье, а ощущение, что мы команда. Что бы ни случилось, мы в одной лодке. Даже если эта лодка скрипит, течёт и вообще больше похожа на дырявое корыто.

Ночь была длинной. Мы бродили по улицам, заглядывали в бары, где нам не продавали пиво, но где мы всё равно сидели и говорили о музыке, о том, какие песни будем играть завтра, какие придумаем сами. Я смотрел на этот город, на его огни, на людей, которые спешили куда-то, и думал: «Мы здесь. И мы будем играть. Даже если придётся кричать, чтобы нас услышали».

Под утро мы нашли маленькую закусочную, где пахло жареным луком и кофе. Хозяин, пожилой мужчина с усталыми глазами, посмотрел на нас, потом на наши гитары, потом снова на нас — и вдруг улыбнулся:

— Вы из клуба «Кайзеркеллер»? Те самые парни?

— Те самые, — кивнул я, стараясь не выглядеть слишком гордым, но у меня не очень получалось.

— Хорошо играли, — сказал он. — Громко. Но в этом что-то есть.

Я почувствовал, как внутри что-то теплеет. Не от кофе. От этих простых слов.

— Спасибо, — сказал я. — Мы будем стараться.

Он кивнул и налил нам ещё по чашке кофе.

— Держите, — сказал он. — Вам ещё играть.

И мы пили этот горький, крепкий кофе и смотрели, как над Гамбургом начинает светлеть небо. Новый день. Новая битва. И мы были готовы.

Глава 7. Битва на досках

В «Кайзеркеллере» пахло так, будто кто-то всю ночь жарил лук, проливал пиво и отчаянно пытался забыть прошлую пятницу. Но нам этот запах уже казался почти родным — как запах дома, если дом этот стоит рядом с пивным заводом и никогда не проветривается.

Бруно, наш вечный судья и надсмотрщик в одном лице, стоял у входа, сложив руки на груди, и смотрел на нас так, будто мы были не музыкантами, а особенно упрямыми тараканами, которых он никак не мог вытравить.

— Сегодня играете после «Рори Сторм энд зе Харрикейнз», — просипел он. — И не начинайте раньше. Я не хочу, чтобы тут было два ора вместо одного.

— А если мы не сможем удержаться? — подмигнул я. — У нас вдохновение. Оно, знаешь ли, не по часам приходит.

— Оно у тебя приходит, когда надо платить за комнату, — фыркнул Бруно. — Держите его на привязи.

Мы переглянулись. «Рори Сторм» — это была другая лига. Ну, по крайней мере, они так думали. Громкие, яркие, с Рори, который прыгал по сцене, как кот на раскалённой крыше, и орал так, будто хотел доказать всему Гамбургу, что он тут главный. А ещё у них был Ринго Старр — парень, который сидел за барабанами с таким видом, будто он не просто играет, а защищает крепость от орков. И, надо признать, стучал он так, что даже стены слегка вздрагивали.

— Ну что, — сказал Пол, поправляя ремень гитары, — будем делать вид, что мы их не замечаем?

— Делать вид? — хмыкнул я. — Да я вообще не буду смотреть в их сторону. Даже если Рори решит станцевать на моей гитаре.

— Ты же сам так делаешь, — заметил Джорж.

— Это другое. Я — гений. Рори — просто парень, которому не хватает места на сцене.

Сцена в «Кайзеркеллере» была произведением инженерного искусства в стиле «сойдёт и так»: деревянные доски, брошенные поверх пивных ящиков. Когда ты на ней стоял, казалось, что ты на плоту посреди бурного моря, только вместо волн — недовольные взгляды публики.

«Рори Сторм» вышли первыми. Рори в кожаной куртке, с волосами, уложенными так, будто он только что подрался с феном, встал у микрофона и выдал такой вопль, что тарелки Ринго, наверное, сами собой задрожали.

— Вот это подача, — пробормотал я. — Если бы звук можно было продавать, он бы уже купил себе замок.

— Не завидуй, — усмехнулся Пол. — У тебя своя фишка.

— Какая?

— Ты умеешь выглядеть так, будто тебе всё равно, даже когда тебе совсем не всё равно.

— Это не фишка, — огрызнулся я. — Это выживание.

Сет «Харрикейнз» шёл своим чередом: громко, энергично, с кучей прыжков и размахиваний руками. Рори явно старался впечатлить публику, и у него это получалось — зал подпевал, хлопал, кто-то даже вскочил на стол. Настоящий праздник, только без конфетти.

А потом случилось то, что потом в наших рассказах превратилось в легенду. Рори, видимо, решив, что сцена слишком маленькая для его таланта, подпрыгнул — высоко, эффектно, прямо как в кино. Только вот сцена не была рассчитана на такие проявления артистизма.

Доски хрустнули. Сначала тихо, будто кто-то наступил на сухую ветку. Потом громче. А потом — *треск*, и часть сцены ушла вниз, как лифт, который решил не останавливаться на этаже.

Рори исчез из виду. На секунду повисла тишина — та самая, когда даже воздух замирает, чтобы посмотреть, что будет дальше. А потом раздался грохот — это тарелки Ринго отправились в свободное падение, сопровождаемые его же выразительным комментарием, который я повторять не буду, но смысл был такой: «Ну вот, опять». Это был Ринго Старр — тогда ещё просто Ричард Старки, но уже с характером и с установкой, которая, судя по звуку, развалилась на запчасти. Тарелки рухнули вниз, как метеориты.

Зал сначала замер, потом взорвался хохотом и аплодисментами. Бруно выбежал на сцену с лицом человека, который только что понял, что забыл выключить утюг, а дом уже горит.

— Что это?! — заорал он. — Что вы делаете с моим клубом?!

Рори, выбравшийся из щели между досками, отряхивался и пытался сделать вид, что так и было задумано.

— Импровизация! — крикнул он. — Театральный элемент!

— Театральный элемент?! — Бруно был близок к тому, чтобы начать дымить ушами. — У меня тут не театр, у меня пивная!

Мы стояли за кулисами и смотрели на это, как на лучший комедийный номер в жизни.

— Ну вот, — хихикнул я, глядя на дыру в сцене, — теперь у нас не просто рок-н-ролл, а рок-н-ролл с элементами цирка.

Пол улыбнулся:

— Главное, чтобы следующий кульбит был не наш.

— Да уж, — Джорж поправил ремень гитары, будто надеялся, что если он будет держаться за инструмент крепче, то сцена не провалится прямо под ним. — теперь мы точно должны сыграть лучше. Иначе будет стыдно.

— Лучше? — фыркнул я. — После такого нам достаточно просто не провалиться под сцену.

— Оптимистично, — кивнул Пол.

Когда нас наконец выпустили на сцену, зал ещё ржал, вспоминая Рори и его акробатический этюд. Я подошёл к микрофону, улыбнулся — той самой улыбкой, которая у меня означала «я знаю, что делаю, почти наверняка» — и сказал:

— Видите эту сцену? Мы её не ломаем. Мы её… тестируем. На прочность.

Зал снова рассмеялся. И в этот момент я понял: мы их зацепили. Не звуком, не аккордами — а этой самой дерзостью, этой уличной романтикой, где ты можешь упасть, но всё равно встанешь и скажешь: «А теперь послушайте вот это».

Мы начали с «Long Tall Sally (Длинная-Предлинная Салли)» — быстро, громко, с таким напором, будто хотели доказать и себе, и залу, и даже Бруно, что мы тут не просто так. Стю вёл бас, и его пальцы летали по струнам, как будто пытались обогнать сами себя. Джорж выдал соло, от которого у соседей, наверное, зазвенели ложки в шкафах. Пит держал ритм, спокойный и уверенный, как человек, который знает, если сцена рухнет, он хотя бы успеет доиграть последний такт. А мы с Полом орал в микрофон, вкладывая в голос всё: Ливерпуль, тётушку Мими, все те вечера, когда мы играли в пустых залах и всё равно верили, что однажды кто-то нас услышит.

И они услышали. Постепенно зал перестал хихикать и начал двигаться. Сначала один человек. Потом другой. Потом целая группа моряков встала и начала подпевать, даже не зная слов — им хватало ритма, хватало энергии, хватало этого безумия, которое мы выплескивали на них, как ведро холодной воды, только с музыкой.

Между песнями я болтал с залом, перемешивая английский, немецкий и жесты, которые, кажется, понимали даже кошки на улице.

— Вы тут все крутые, — кричал я. — Но мы круче. Потому что мы не провалились под сцену!

Зал хохотал и хлопал. И это было лучше любых оваций в Ливерпуле.

После сета мы вышли из клуба, уставшие, потные, но с той самой энергией, которая не даёт тебе просто сесть и выдохнуть. Мы стояли у входа, смотрели на неоновые вывески, на людей, спешащих по своим делам, и чувствовали себя частью этого города — шумного, грубого, настоящего.

К нам подошёл Рори. Вид у него был слегка помятый, но довольный — как у человека, который устроил переполох и теперь наслаждается последствиями.

— Ну что, парни, — сказал он, ухмыляясь. — Видели, какой эффект я произвёл?

— Ещё бы, — хмыкнул я. — Теперь твоя группа известна не только музыкой, но и как разрушители сцены.

— Пусть знают, — пожал плечами Рори. — Искусство требует жертв. Даже если жертва — это пол клуба.

— Главное, чтобы Бруно не потребовал компенсацию, — заметил Пол.

— Бруно? — Рори махнул рукой. — Он ворчит, но в душе он рад. Без нас тут было бы скучно.

Мы рассмеялись. И в этом смехе было что-то важное — не просто веселье, а это чувство, когда ты понимаешь, что ты среди своих. Среди тех, кто так же живёт музыкой, так же рискует, так же падает и встаёт.

— Слушай, — сказал Рори, глядя на меня, — а давайте как-нибудь сыграем вместе? Ну, не весь сет, конечно. Но хотя бы одну песню. Будет весело.

Я посмотрел на ребят. Пол приподнял бровь, Джорж пожал плечами, Пит просто кивнул — он всегда был немногословным.

— Почему бы и нет? — сказал я. — В конце концов, мы же все тут ради музыки. Ну и чтобы не дать Гамбургу заскучать.

Рори хлопнул меня по плечу.

— Вот и отлично. Значит, договорились.

Он ушёл, оставив нас стоять и смотреть ему вслед.

— Думаешь, он серьёзно? — спросил Джорж.

— Думаю, он всегда серьёзен, когда дело касается сцены, — ответил я. — Даже если эта сцена пытается его сбросить.

Пол усмехнулся.

— Знаешь, Джон, иногда мне кажется, что мы попали именно туда, где должны быть.

— В Гамбург? — уточнил я.

— Нет. «В историю», —тихо сказал он.

Я не стал отвечать. Просто посмотрел на этот город, на его огни, на его улицы, полные жизни и шума, и подумал: может, Пол и прав. Может, мы действительно на пороге чего-то большого. А пока — пусть будет музыка, пусть будет драйв, пусть будет эта уличная романтика, которая делает каждый вечер приключением.

После этого Бруно собрал нас всех — и «Битлз», и «Ураганы» — в углу клуба, где пахло пивом и отчаянием. Он стоял, сложив руки на груди, и смотрел на нас так, будто мы были пятью детьми, которые разбили окно, и ещё пятью, которые стояли рядом и хихикали.

— Так, — сказал он. — Сцена — дерьмо. Но сцена — моя. И пока она не рухнет окончательно, вы будете на ней играть. А чтобы не было драк и прыжков, сыграете вместе.

Мы с Рори переглянулись. У него на лице читалось: «Я звезда, я не играю с новичками». У меня — «Я не играю с теми, кто ломает мне сцену». Но спорить с Бруно было себе дороже.

— Вместе? — переспросил Рори. — Это как?

— Как хотите, — отрезал Бруно. — Хоть дуэтом, хоть хором. Хоть кто-то поёт, а остальные стоят и смотрят. Мне плевать. Главное — чтобы зал не скучал.

И ушёл, оставив нас пятерых «Битлз» и пятерых «Ураганов» смотреть друг на друга, как две стаи котов, которых заперли в одной комнате.

Ринго, всё ещё злой, но уже без мата, сказал:

— Ладно. Если уж мы тут все в одной лодке, давайте хотя бы сыграем так, чтобы эта лодка не пошла ко дну.

Я посмотрел на него. В нём было что-то… надёжное. Как будто, если сцена опять провалится, он просто встанет, поправит тарелки и скажет: «Продолжаем».

— Хорошо, — кивнул я. — Давайте сыграем «Long Tall Sally». Но не как на детском утреннике, а так, чтобы у Бруно седина появилась.

Рори фыркнул:

— Это наша фишка. Мы её играем лучше всех.

— Отлично, — я улыбнулся той самой улыбкой, от которой Мими вздыхала и говорила: «Джон, ты опять что-то задумал». — Тогда сыграем её так, что даже твоя бабушка встанет и начнёт танцевать. Даже если она в гробу.

Кто-то из «Ураганов» хихикнул. Рори закатил глаза, но в них мелькнуло что-то вроде уважения. Или просто желания не ударить в грязь лицом.

Мы встали на сцене — не в линию, а как попало: я рядом с Рори и Полом, а басист «Ураганов» чуть позади, Джорж и их гитарист пытались не задеть друг друга грифами, а Пит и Ринго делили ударную установку, как делят бутерброд: один берёт хлеб, другой — колбасу.

— Раз, два, три, — крикнул я, и мы ударили по струнам.

«Long Tall Sally» пошла не как песня, а как ураган. Я орал в микрофон, Рори орал рядом — мы будто соревновались, кто громче, кто хриплее, кто безумнее. Стю лупил по басу, как будто тот был виноват во всех его бедах. Джорж выдавал соло, которое звучало как крик души, потерявшейся в Гамбурге. А Ринго… Ринго и Пит просто держали ритм — жёсткий, неумолимый, как пульс города.

Зал сначала замер. Потом кто-то встал. Потом ещё один. Потом весь зал начал двигаться. Моряки топали ногами, девушки хлопали в ладоши, даже бармен, который обычно смотрел на музыкантов, как на неизбежное зло, вдруг заулыбался и начал кивать в такт.

— Да! — заорал я, когда мы дошли до припева. — Ещё громче!

И мы сделали громче. Так громко, что, наверное, соседи, которые жаловались на шум, подумали, что начался конец света. И, возможно, были правы.

Когда песня закончилась, зал взорвался. Не аплодисментами — рёвом. Как будто мы не просто сыграли песню, а выиграли битву.

Рори повернулся ко мне, вытирая пот со лба, и сказал:

— Ладно, Леннон. Ты умеешь заводить толпу.

— Спасибо, Сторм, — ответил я. — Но не обольщайся. Это была разовая акция.

— Посмотрим, — хмыкнул он. — Может, мы ещё что-нибудь сыграем.

После сета мы сидели в углу, пили дешёвое пиво и пытались отдышаться. Ринго крутил в руках палочку, как будто это был волшебный жезл, который мог всё исправить.

— Знаешь, — сказал он, глядя куда-то в сторону, — иногда кажется, что мы просто шумим. А потом слышишь, как зал дышит вместе с тобой, и понимаешь: это не шум. Это музыка.

Я кивнул. В этом был весь Ринго — немного философ, немного барабанщик, и очень надёжный парень.

— Ты прав, — сказал я. — Мы не просто шумим. Мы кричим так громко, чтобы нас услышали даже те, кто не хочет слушать.

Пол, который сидел рядом и что-то записывал в блокнот, поднял голову:

— А что, если мы сделаем ещё один джем? Только не «Long Tall Sally», а что-то своё. Ну, типа… набросок.

— Своё? — переспросил Джорж. — У нас пока только наброски. И те в голове.

— Вот и проверим, — сказал Пол. — Пусть будет эксперимент.

Мы посмотрели друг на друга — «Битлз» и «Ураганы». И в этот момент не было никакой конкуренции. Не было «мы» и «они». Был просто один большой, шумный, безумный оркестр, который хотел играть.

— Ладно, — сказал Рори, поднимая бутылку. — Один джем. Но только один. И чтобы без прыжков на сцене.

— Обещаю, — я поднял взгляд. — Никаких прыжков. Только музыка. И немного безумия.

Мы чокнулись бутылками, и в этом звуке было что-то особенное — не просто стекло о стекло, а как будто начало чего-то нового.

И мы сыграли. Не идеально. Не гладко. Но с таким драйвом, что даже Бруно, который обычно стоял в углу с лицом «я всё это уже видел», вдруг кивнул, как будто сказал: «Неплохо. Совсем неплохо».

Мы смешивали рок-н-ролл, блюз, какие-то обрывки мелодий, которые крутились у нас в головах. Я пел, Рори с Полом подпевали, Джорж пытался не запутаться в аккордах, а Ринго держал ритм, как якорь в шторм. Пит, просто стоял рядом.

В какой-то момент я поймал себя на мысли: это не просто джем. Это что-то большее. Это как будто мы все — из разных мест, с разными мечтами, но сейчас мы говорим на одном языке. И язык этот — музыка.

Когда мы закончили, в зале повисла тишина. А потом — снова рёв. Такой, что казалось, стены клуба вот-вот рухнут. Но на этот раз мы были готовы.

Рори хлопнул меня по плечу:

— Знаешь, Леннон, может, мы и не такие уж разные.

— Может, и нет, — ответил я. — Но я всё равно буду прыгать на сцене.

Он рассмеялся. И в этом смехе было что-то хорошее — не соперничество, а дружба. Или, по крайней мере, начало дружбы.

Глава 8. Как мы научились дышать в унисон

После того джем-сейшена с «Ураганами» что-то в нас щёлкнуло. Не громко, не торжественно — тихо, как щелчок замка, когда ты наконец-то вставил ключ правильно. Мы вышли из клуба, и город будто стал звучать иначе. Раньше Гамбург был просто фоном — шумом, который надо перекричать. Теперь он стал ритмом, который можно поймать.

— Знаете, — сказал Пол, когда мы, брели по Репербану, а неоновые вывески рисовали на наших лицах красные и синие полосы, — я всё думаю про тот момент, когда Ринго держал бит, а мы все чуть-чуть поплыли… и он нас вытащил.

— Вытащил? — хмыкнул я. — Да он нам просто не дал утонуть.

— Вот именно, — кивнул Пол. — Он не пытался нас переиграть. Он держал нас. Как канат.

Я помолчал. В голове крутился тот самый кусок, где мы все одновременно сбились, а Ринго будто даже не заметил — просто продолжал стучать, ровно, жёстко, как сердце, которое не собирается останавливаться ни при каких обстоятельствах.

— Если бы это был я, — буркнул Пит, — я бы начал молотить сильнее, чтобы показать: «Смотрите, я тут главный».

— А Ринго не хочет быть главным, — тихо сказал Стю. — Он хочет, чтобы всё шло.

Мы дошли до нашей каморки — той самой, где пятеро парней умещались только по очереди, и сели кто куда: на кровати, на полу, прислонившись к стене. Гитары лежали рядом, как старые друзья, которые не обижаются, если ты не трогаешь их пару часов. Но сегодня они будто ждали.

— Давайте попробуем кое-что, — вдруг сказал Пол. Он достал блокнот и начал что-то чертить — линии, точки, стрелочки. — Вот тут мы обычно делаем стандартный рок-бит. А что, если… сдвинуть акцент? Не на первый и третий, а на второй и четвёртый?

— Сдвинуть? — Джорж нахмурился. — Это же будет звучать криво.

— Криво — это когда не чувствуешь, — возразил Пол. — А если чувствуешь — это ново.

— И как это будет звучать? — спросил я, уже заранее подозревая, что мне это понравится.

Пол взял гитару и начал наигрывать что-то простое, но с этим самым сдвигом. И правда — звучало непривычно. Будто земля чуть-чуть качнулась, и ты вдруг увидел мир под другим углом.

— Так… — я прислушался. — Так будто мы не идём, а танцуем. Даже если не хотим.

— Именно, — Пол улыбнулся. — Пусть музыка сама тянет тебя вперёд.

Мы начали пробовать. Сначала неуклюже, как щенки, которые только учатся ходить. Сбивались, смеялись над собой, снова начинали. Я нарочно пел чуть раньше, чем нужно, чтобы почувствовать этот сдвиг — и вдруг понял: в этом есть дерзость. Как будто ты чуть-чуть опережаешь мир и говоришь ему: «А ну-ка, догони».

На следующий вечер в «Кайзеркеллере» Бруно посмотрел на нас, как на сумасшедших, когда мы попросили чуть-чуть изменить расстановку.

— Что вы делаете? — буркнул он. — Сцена и так маленькая.

— Нам нужно больше воздуха между барабанами и гитарами, — сказал я. — Иначе мы друг друга не слышим.

Бруно фыркнул, но отошёл. Видимо, решил: пусть делают что хотят, лишь бы играли.

Когда мы начали первый сет, я сразу почувствовал разницу. Мы не просто играли — мы прислушивались. К себе. Друг к другу. К залу. И зал, странное дело, тоже начал прислушиваться. Не хлопать по привычке, а ловить каждую ноту, каждый удар.

После сета к нам подошёл Ринго. Он стоял, держа палочки так, будто они были продолжением его рук, и смотрел спокойно, без пафоса.

— Вы сегодня играли иначе, — сказал он. — Будто не хотели просто звучать громко. А хотели, чтобы вас поняли.

— Мы сами себя сегодня впервые поняли, — признался Пол.

Ринго кивнул, как будто это было самое нормальное признание в мире.

— Хотите, я покажу вам один приём? — спросил он. — Ничего сложного. Просто… держите бит не ногами, а животом. Чувствуйте его там. Тогда руки сами найдут, куда ударить.

Он сел за установку и начал стучать. Не громко. Не быстро. Но так, что казалось, будто этот ритм был здесь всегда — в шуме города, в стуке колёс поездов, в шагах прохожих.

Мы слушали. И учились.

С тех пор наши репетиции стали выглядеть странно для постороннего взгляда. Мы могли полчаса играть один и тот же такт, сдвигая его на долю секунды то вперёд, то назад. Спорили, смеялись, снова пробовали.

— Ты слишком рано входишь! — кричал я Джоржу.

— Зато ты слишком поздно поёшь! — парировал он.

— Да вы оба поёте вовремя, — спокойно говорил Пол. — Просто вы не вовремя дышите.

И мы начинали заново. Дышали вместе. Считали вместе. Играли вместе.

Однажды вечером, когда мы уже почти падали от усталости, я вдруг поймал тот самый момент: когда все пятеро звучат не как пять разных людей, а как один организм. Один голос. Один пульс.

— Стоп, — сказал я, опуская гитару. — Вот. Сейчас. Это было… правильно.

Пол улыбнулся:

— Наконец-то ты это заметил.

— Я не слепой, — огрызнулся я. — Просто я привык, что правильно — это громко. А оказалось, что правильно — это вовремя.

Ринго постепенно становился частью нашего мира. Мы встречались между сетами, болтали, спорили о музыке. Он рассказывал про разные ритмы, про то, как можно играть не только руками, но и тишиной — оставлять паузы, чтобы звук становился острее.

— Пауза — это тоже удар, — говорил он. — Только тихий. Но иногда тихий удар громче крика.

Я хмыкал, но запоминал. И потом использовал. В песнях. В паузах между словами. В том, как я смотрел на зал, прежде чем начать следующую строчку.

Однажды Рори Сторм застал нас за этим разговором и прищурился:

— Эй, Леннон, ты что, переманиваешь моего барабанщика?

— Не переманиваю, — честно ответил я. — Просто учусь у него.

Рори помолчал, потом хмыкнул:

— Ладно. Пусть учит. Кому-то надо держать вас в ритме. Иначе вы разбежитесь по сцене, как тараканы от света.

Мы рассмеялись. И в этом смехе не было вражды. Была эта странная, уличная солидарность: мы все здесь ради музыки. Кто-то громче, кто-то тише, но все — по-настоящему.

Наш звук менялся. Он становился плотнее, собраннее. Мы начали экспериментировать не только с ритмом, но и с тем, как мы подаём песни. То делали их медленнее, чтобы каждая нота звенела, как стекло. То ускоряли, чтобы они неслись, как поезд, который не собирается тормозить.

Зал это чувствовал. Нас стали узнавать. Не как «тех парней из Ливерпуля», а как «Битлз, у которых ритм будто живой». Моряки кивали, когда мы выходили на сцену. Девушки улыбались не просто из вежливости, а потому что им действительно хотелось нас слушать.

Однажды после сета к нам подошёл Бруно. Он не улыбался — Бруно вообще не умел улыбаться. Но в его глазах мелькнуло что-то вроде уважения.

— Сегодня вы играли не как новички, — сказал он. — Вы играли как те, кто знает, чего хочет.

— Мы и сами не знали, — признался я. — Но теперь знаем.

Бруно кивнул и ушёл. А мы стояли и смотрели друг на друга — и в этот момент я понял: мы становимся группой. Настоящей. Не просто набором музыкантов, а чем-то большим.

Ночью, когда город затихал, а Репербан становился чуть менее безумным, мы иногда сидели на ступеньках клуба и смотрели, как редкие машины проезжают мимо, оставляя за собой полосы света.

— Знаешь, — сказал Ринго, глядя в небо, где звёзды прятались за неоном, — иногда мне кажется, что весь этот шум — не просто шум. Он что-то значит.

— Он значит, что мы здесь, — ответил я. — И мы играем.

— И будем играть, — добавил Пол.

— Пока не умрем, — хмыкнул Джорж.

— А мы не умрем, — твёрдо сказал Стю.

Я посмотрел на них — на этих парней, с которыми мы делили тесную комнату, дешёвую еду, бесконечные сеты и эти ночные разговоры. И вдруг понял: вот он, наш ритм. Не на барабанах. В нас самих.

Глава 9. Астрид унд Клаус

В Гамбурге у нас не было друзей, но мы не страдали. Кто пойдёт дружить с компанией английских оболтусов, которые живут в чулане, пахнут пивом и орут по четыре сета в ночь? Моряки? Моряки — это не друзья, это публика. Девицы? Девицы — это отдельная песня.

А потом появились Клаус и Астрид. И всё началось с того, что один парень из приличной семьи случайно сел рядом с самыми страшными людьми Гамбурга. То есть с нами.

Клауса звали Клаус Форман. Родился он в Берлине, отец — известный врач, семья — образцовая, как учебник по воспитанию. Сам Клаус был худой, нервный, с такой причёской, что в Ливерпуле его побили бы по дороге из порта до первой пивной. А в Гамбурге он считался… эм… «иначе выглядит». Мы же считались «иначе пахнет». Каждый в своём жанре.

Расскажу, как он сам потом рассказывал — с тем его виноватым видом, будто он извиняется за то, что вообще родился.

Заходит он, значит, в «Кайзеркеллер». Первый раз в жизни заходит в место, где пахнет пивом, дымом и грехом. И страшно ему, аж до дрожи в коленках. Мальчик из хорошей семьи, суп пьёт с чайной ложечки, и вдруг — Репербан, шум, крики, на сцене «Ураганы» Рори Сторма, а Рори блистает, как елочная гирлянда на пикнике.

Клаус стоит у стены, пытается быть невидимым. А невидимым быть в темноте — легко. Садится он в угол, на первый попавшийся стул, счастливый, что хоть кто-то не съел его за последнее время.

И садится — рядом с нами.

Мы в тот вечер выглядели, как я потом узнал, «ужасно». Так сказал он. «Ужасно». Кожаных курток у нас еще не было. Были пиджаки в черно белую клетку. Джинсы, немытые лица. Стю сидел с его рисунками, я ковырялся в зубах спичкой, Пол что-то напевал, Джорж нахлобучил на глаза чёлку, чтобы видеть мир через неё, а Пит дремал, как кот на солнце.

Клаус сел. Посмотрел на нас. Мы посмотрели на него.

— Привет, — говорит он. По-английски. С немецким акцентом, от которого каждое слово звучало как извинение.

— Угу, — ответил я.

— Красивый клуб, — попытался он ещё раз.

— Он dirty и вонючий, — заметил Пол. — Но да, charming.

Клаус нервно улыбнулся, как улыбается человек, который только что понял, что сел в клетку к зверям, а дверь уже кто-то запер. И тут мы вышли на сцену.

Сет второй. Я вышел к микрофону, оглядел зал — и вижу этого мальчика. Худой, бледный, с круглыми глазами, как будто его сейчас заберут в армию. Сидит в углу и смотрит на нас так, как никто никогда не смотрел.

— Гутен Таг! — заорал я в микрофон, хотя это были, кажется, все мои познания в немецком, вместе с «Danke» и «Bier». — Das ist Битлз!

Зал заржал. Клаус не заржал. Клаус просто смотрел.

И мы ударили. «Sweet Little Sixteen». Чак Берри, но не тот, что на пластинке — тот, что прошёл через четыре сета в ночь, через пиво, через хрипотцу в горле, через ненависть и любовь, смешанные в одну кашу. Я орал, Пол играл так, будто от этого зависела его жизнь, Джорж выдавал соло, от которых у соседних столов подпрыгивали стаканы, Пит молотил, Стю держал бас.

И тут я увидел, что у мальчика из угла «снесло крышу». Не в переносном смысле — реально снесло. Он сидел с открытым ртом, как рыба, выброшенная на причал, и смотрел на нас так, будто мы только что открыли ему второе пришествие. Или хотя бы первое.

После сета он не ушёл. Ждал. Мы сошли со сцены, промокшие, как боксёры после двенадцати раундов, и он подошёл. Прямо ко мне. Протягивает руку, а рука дрожит.

— Ребята, — говорит, — это было… это было невероятно.

— Спасибо, — говорю. — А ты кто — антисанитарный инспектор?

— Клаус. Я художник. Я оформляю обложки.

— Обложки, — повторил я, как будто это было слово из другого языка. — А я оформляю своё будущее. Пока — синим по белому.

Он не понял шутки, но улыбнулся. Клаус вообще всегда улыбался, даже когда не понимал. Приятное качество в человеке.

Через неделю Клаус притащил Астрид.

Астрид Кирхнер. Нет, Кирххерр — запомни, Джон, ей это важно. Девушка из добропорядочной гамбургской семьи. Фотограф. Красивая — не в смысле «красивая как все», а в смысле «смотрит на тебя так, что ты забываешь, зачем пришёл». Стрижка короткая, одежда — как у парня, взгляд — как у человека, который знает что-то, чего не знаешь ты.

И вот она стоит на пороге «Кайзеркеллера» и НЕ ХОЧЕТ заходить.

— Клаус, я не пойду туда, — говорила она.

— Но это потрясающая музыка, — умолял Клаус.

— Это подвал. Там пахнет пивом. И дымом.

— Именно поэтому туда надо зайти.

— Клаус…

— Астрид, ради всего святого, я уже три раза заходил. Просто посмотри десять минут.

Она сопротивлялась. Как дама, которую тащат в аттракцион «Мёртвая петля»: «Нет-нет-нет, я лучше постою тут». Клаус тащил. Она упиралась. Потом зашла. Остановилась у стены.

Посмотрела на всё это безобразие — на пьяных моряков, на дым, на нас, тощих и потных, — и её лицо выражало примерно следующее: «Я в аду. И ад ужасен».

А потом мы начали играть.

Первые такты — «Some Other Guy». И Астрид забыла обо всём на свете. Вот прям забыла — про то, что приличная девушка не стоит в подвале среди моряков, про то, что пора домой, про то что… ну в общем вы поняли. Она просто смотрела. И уже в первый вечер начала снимать. У неё была камера — настоящий фотоаппарат, не игрушка. Она подошла ближе.

— Не фотографируй меня, — крикнул я ей между песнями. — Я страшный, когда играю.

— Нет, — ответила она. Спокойно так. — Ты настоящий.

— Настоящий — это когда немытый?

— Настоящий — это когда живой.

Я, признаться, завис. Мне никто такого не говорил. Обычно говорили: «Джон, помойся» или «Джон, ты опять воняешь». А тут — «настоящий». От девушки из приличной семьи, в подвале, среди пива и дыма.

После сета Клаус весь светился, как германская лампочка, и решил, что пришло время познакомиться «по-настоящему». Он достал из сумки конверт — обложку для сингла, которую сам оформил. Аккуратная такая, стильная, с линиями и шрифтами.

— Вот, — сказал он с гордостью, — я это сделал.

Мы собрались вокруг. Посмотрели. Пол покивал. Джорж кивнул. Стю, как художник, хоть что-то понял — но промолчал, потому что был воспитанный. А я посмотрел на Клауса и выдал:

— Это… что?

— Обложка, — сказал он.

— Для чего?

— Для сингла.

— Чьего?

— Ну… любого. Я оформляю. Это моя работа.

Я посмотрел на Пола. Пол посмотрел на меня. Обмен взглядами, который означал примерно: «Парень нам показывает рисунок на конверте, а у нас пока нет ни сингла, ни конверта, ни денег на конверт».

— Красиво, — сказал Пол дипломатично.

— Мило, — сказал я недипломатично. — Теперь давай оформишь нам контракт с EMI, раз уж ты такой художник.

Клаус покраснел. Астрид, которая стояла рядом, фыркнула — не обидно, а весело. Как будто она сразу поняла, что мы из себя представляем: пять наглых английских оболтусов, у которых всё впереди, кроме денег.

— Вы злые, — сказала она. Но в глазах мелькнуло что-то похожее на уважение.

— Мы не злые, — возразил я. — Мы честные. Это хуже.

Потом мы сидели за столиком — я, Пол, Клаус и Астрид — и разговаривали. Ну, как разговаривали. Клаус говорил по-английски с немецким акцентом, я отвечал с ливерпульским, Пол вставлял умные фразы, а Астрид молчала и смотрела. Ей нравилось смотреть. Потом она фотографировала. И её снимки потом станут теми самыми, знаменитыми — но об этом потом.

— Как вы играете так? — спросил Клаус. — По восемь часов в день?

— Привычка, — сказал я. — Как чистить зубы. Только вместо щётки — гитара.

— Но вы же должны уставать.

— Устаём, — кивнул Пол. — Просто не показываем.

— А если показать?

— Тогда зал подумает, что мы слабые, — заметил я. — А слабым в этом подвале не место. Здесь место только сильным, злым и голодным.

— Вы голодные? — спросил Клаус наивно.

— Вечно, — хором ответили мы с Полом, и Астрид засмеялась. По-настоящему, звонко. Как будто она тоже была голодна — но не на еду, а на что-то другое. На жизнь, что ли.

В ту ночь, когда мы вышли из клуба, Клаус и Астрид пошли с нами. Они шли по Репербану, и весь этот мир — неоновые вывески, крики, девушки у дверей, моряки с татуировками — был для них новый. А для нас уже почти родной.

— Знаешь, — сказала Астрид Полу, когда мы ждали трамвай, — в этом городе есть две стороны. Одна — красивая, чистая, для тех, кто живёт правильно. Другая — вот эта. И я всегда жила на первой. А вы, похоже, живёте на второй.

— Мы не живём на второй, — хмыкнул я. — Мы живём в подвале. Это вообще третья сторона. Её на картах не рисуют.

— Зато она самая настоящая, — сказал Клаус тихо. — Другие стороны — это декорации. А это — жизнь.

Я посмотрел на него. Худой, в очках, с причёской, за которую его бы в Ливерпуле отлупили, — и говорит такие вещи. И говорит их так, что хочется поверить.

— Ладно, Клаус, — сказал я. — Ты в порядке. Можешь заходить в наш подвал ещё.

— Правда? — он просиял.

— Только принеси ещё таких конвертов. Будем разжигать ими камин, когда станет холодно.

Астрид засмеялась. Клаус фыркнул. Пол покачал головой. И в этот момент я понял: у нас в Гамбурге появились друзья. Настоящие. Которые не за деньги, не за славу — просто, потому что им понравилось, как мы играем.

А это, если разобраться, — самая дорогая валюта в мире. Дороже фунтов, дороже шиллингов, дороже даже той бутылки пива, которую Бруно нам иногда наливал «за счёт заведения», когда настроение у него было получше погоды.

Глава 10. Кожа, чёрно-белые фото и одна очень опасная комната

После того вечера Астрид зачастила в «Кайзеркеллер» с такой регулярностью, что Бруно однажды поинтересовался, не нанять ли её на полставки. Но Астрид не приходила за пивом и за нами в придачу — она приходила за кадрами. И это было единственное, что могло отвлечь её от того, что мы — английские оболтусы, которые каждое утро, простите за интимные подробности, сбиваются в очередь в один умывальник.

— Стой так, — командовала она. — Нет, не так. Расслабь плечи.

— Я расслаблен, — буркнул я. — Просто струны порваны.

— Ты не расслаблен. Ты позируешь. Позирование — это враньё. Я снимаю правду.

— Правда — это что, когда я воняю?

— Правда — это когда живой.

— Астрид, — я почесал затылок, — между «настоящий» и «воняет» у тебя какая-то подозрительно тонкая разница.

Она даже не улыбнулась. Просто нажала на спуск. Щёлк. И я вдруг понял, что ненавижу этот звук. И люблю. Одновременно.

— Вы не понимаете, — сказала она, перематывая плёнку. — Я снимаю не людей. Я снимаю время.

— Тогда сними время, когда я ем колбасу, — предложил я. — Это тоже время. И очень честное.

Пол хихикнул. Астрид повернулась ко мне и посмотрела долгим взглядом:

— Ты всегда так — за юмор прячешься?

— У меня больше нет тайников, — пожал я плечами. — Всё потратил ещё в школе.

Потом был день, когда Стю впервые увидел Астрид не через объектив. То есть Астрид впервые увидела Стю. Или Стю впервые посмотрел на Астрид. Честно скажу — не разберу, кто кого зацепил первым, но цепь была цепкая.

Стю пришёл в клуб, как обычно, с блокнотом — он рисовал даже когда играл, что, между нами, не добавляло его басу точности. Увидел Астрид. Остановился. И вот тут я, ливерпульский знаток женских сердец, впервые в жизни увидел, как человек влюбляется в прямом эфире. Не слова, не жесты — просто человек выключился из мира и включился в другой, где была только она.

— Кто это? — прошептал он мне.

— Астрид. Фотограф. Дочь буржуазии. Снимает нас бесплатно, так что улыбайся.

— Она… — Стю сглотнул. — Она как будто из другого мира.

— Она из Гамбурга, Стю. Из приличного района. Тебя оттуда вычистят щёткой.

— Она смотрит на меня?

— Она смотрит в камеру, Стю. Успокойся, доиграй сет.

Он не успокоился. Он играл этот сет как человек, который держит бас и одновременно несёт крест. Пальцы летали, бас гудел, а глаза — глаза были где-то на уровне камеры Астрид. Я потом ему говорил: «Стю, ты на сцене или на сеансе?» Он отвечал: «Да». Бедный гений.

А Астрид смотрела в объектив и вдруг опустила камеру. Просто опустила. И посмотрела на Стю — прямо, спокойно, без улыбки. Три секунды. Три секунды, которые стоили дороже всего нашего гамбургского гонорара.

Клаус стоял рядом и, кажется, всё понял раньше нас всех. Он вздохнул так, как вздыхают художники, у которых украли музу. Не сказал ничего. Клаус умел молчать красиво.

Приглашение пришло через Клауса. Точнее, Клаус нам его доставил с видом дипломата, везущего письмо о мире:

— Астрид приглашает вас в гости. В свою квартиру. На чай.

— На чай? — я поднял бровь. — Немцы пьют чай?

— Немцы пьют всё, — ответил Клаус. — Но у Астрид — это ритуал.

Квартира Астрид. Это было что-то. Мы жили в чулане, где обои были цвета отчаяния, а здесь — комнату залил чёрно-белый мир: чёрные стены, белые простыни, керосиновые лампы, свечи. Свечи! В Ливерпуле свечи — это когда перегорела лампочка. А здесь — стиль. И весь этот чёрно-белый мир был заполнен фотографиями — её работами, её взглядом на мир.

— Вот здесь живу я, — сказала Астрид, разводя руками. — Всё, что вы видите, я сделала сама.

— Красиво, — честно сказал Пол. — Страшно и красиво. Как наша музыка.

— Это лучший комплимент, который я слышала, — она улыбнулась.

Мы сидели на полу, пили чай из маленьких чашек, и я почувствовал, что-то щёлкнуло. Не в усилителе — во мне. Что-то такое, что потом назовут «интеллектуальным кружком». У нас-то до этого высшим светом были яичница у Пола и чай у Мими.

— Зачем свечи? — спросил я. — У вас же электричество.

— Огонь — это правда, — ответила Астрид. — Электрическая лампа светит всем. Свеча — тебе одному.

— Красиво сказано, — кивнул я. — Мими бы сказала: «Джон, свечи — это когда денег на электричество нет».

— Тётя Мими — прагматик, — улыбнулась Астрид.

— Тётя Мими — военный преступник, — уточнил я. — Но с добрым сердцем. Как все военные преступники.

Стю в тот вечер был не свой человек. Он сидел рядом с Астрид, молчал, как рыба, и смотрел на неё так, как смотрят на костёр в холодную ночь. Астрид тоже молчала. И смотрела. И вот что интересно: они не разговаривали, но разговор шел — страшно представить, о чём, но шёл. Я, автор этого романа, читатель, я, который так и не понял, что такое любовь, впервые в жизни видел её в прямом эфире. В чёрно-белом варианте. С керосиновой лампой.

— Астрид, — сказал наконец Стю, и голос у него дрожал, как струна под настройкой. — Можно я нарисую тебя?

— Можно, — ответила она просто.

— А можно… — он запнулся. — Можно я нарисую тебя так, как я тебя вижу?

Астрид посмотрела на него долго. Потом кивнула:

— Так, как видишь только ты. Хорошо.

Я с Полом переглянулись. В этом «только ты» было что-то, от чего даже у меня, циника с гитарой, что-то ёкнуло. Не в смысле «ёкнуло» — «ёкнуло» я чувствовал и раньше, каждый раз, когда Мими раскладывала «пророчество» про моё будущее. Но это было другое.

Клаус сидел в углу, пил чай, смотрел на них и улыбался. Грустно улыбался. И вот тут я, Джон Леннон, который встречал новеньких в группу взором «построю из вас людей», вдруг понял: бедный Клаус. Бедный, добрый Клаус. Он тоже её любил. И все трое это знали.

На следующий день Астрид предложила нам то, что перевернуло наш внешний вид. Она сказала это буднично, как будто речь шла о погоде:

— Вы должны… сними меня в коже. – произнесла она с трудом подбирая слова.

— В коже? — я поднял вопросительно брови. - У нас нет кожи. У нас есть пиджаки, от которых шарахаются бабушки.

— Кожаные куртки. Настоящие. Репербановские. У портного есть. И причёски.

— Причёски?

— Да. Так стригут там, где я бываю. Коротко. С чёлкой.

— Это что, чтоб нас в Ливерпуле побили? — поинтересовался я.

— Это чтобы вас запомнили. Группы похожи друг на друга, как пиво на пиво. А вы — нет.

— А ты, Астрид, — я посмотрел на неё, — всегда говорила мне, что правда важнее красоты. А тут — костюм.

— Это не костюм, — она посмотрела на меня без улыбки. — Это броня. Когда ты в коже, ты не боишься сцены. Ты боишься только того, что она треснет под тобой.

— Она треснет в любом случае, — хмыкнул я. — Дерево там — не дерево, а опилки с амбициями.

И вот мы — пятеро парней — оказались у портного на Репербане. Мы «обмундирование» получали, как рекруты. Джорж первым напялив чёрную кожаную куртку, повернулся перед зеркалом:

— Ну как?

— Как вышибала, — сказал я.

— Тогда мне подходит.

Пол напялил свою, двигал плечами:

— Тесно в плечах.

— Это чтобы ты не разбегался, — заметил я.

Стю надел свою и вдруг сказал тихо:

— А мне… нравится. Как будто я стал кем-то другим.

— Ты стал кем-то другим, — подтвердил я. — Ты стал «Битлз».

Пит потрогал воротник, как будто проверял, не кусается ли. Я посмотрел на себя в зеркало. Худой, бледный, в чёрной коже, с гитарой за спиной. Будто кто-то взял меня — тощего, злого, вечно голодного парня из Ливерпуля — и отполировал. Как старую монету.

— Ну что, — сказал я ребятам, — теперь мы выглядим как группа. Осталось только научиться играть.

— Мы и так играем, — возразил Пол.

— Мы играли. Теперь будем играть.

Причёска. Это отдельная песня. Астрид срезала наши волосы. Ну, не срезала — сделала так, что мы сами попросили. Вот так работает настоящий фотограф: ты думаешь, что сам решаешь, а она уже нажала на спуск. Джорж первым пошёл в парикмахерскую, потом я, потом Пол. Стю уже стригся коротко — художник же. Пит оставил свой зачёс, как Элвис. Пит был верен Элвису до конца.

В зеркале парикмахерской я смотрел на себя и не узнавая. Короткие волосы, в довершение всего ещё и чёлка, падающая на лоб. Я думал: вот теперь мы похожи. Не на «кворрименов», не на «жуков», не на «сильвер» — на кого-то нового. На что-то новое.

— Слушай, — сказал я Полу, когда мы выходили из парикмахерской, — а что, если нас в Ливерпуле запинают?

— Запинают, — философски кивнул Пол. — Но красиво запинают.

А теперь, дорогой читатель, представь сцену, которой не было. Мы её не дожили, слава богу, — Мими в Гамбург не прилетела. Но я её так живо себе представил, что расскажу.

Представь: Мими прилетает в Гамбург. Находит клуб. Открывает дверь. А там — её племянник, тот самый Джонни, которого она растила на топленом молоке и понуканиях за учебу, стоит в чёрной коже, с чёлкой, посреди подвала, где пахнет пивом, табаком и грехом.

— Джон! Что ты на себя надел?!

— Куртку, Мими.

— Это не куртка. Это заявка на непризнание обществом!

— Наоборот, Мими. Это заявка на признание. Просто обществу об этом ещё не сказали.

— Ты похож на хулигана!

— Я и есть хулиган, Мими. Просто теперь официально оформлен.

— И волосы! Ты стригся у кого? У циркового?

— У немецкого. Немцы аккуратные.

— Джон, тебе двадцать лет. У тебя нет денег, нет образования, у тебя гитара и чёрная кожа. Что у тебя есть?

Я бы посмотрел на неё и ответил честно:

— Есть мы. Пятеро. И музыка, которую никто не играет, кроме нас.

Мими бы помолчала. Потом бы вздохнула — тем своим вздохом, который означал «я сдалась, но не признаюсь»:

— Ладно. Но письмо напишешь. Хоть строчку в месяц.

— Напишу, Мими. Обещаю.

— Ты в прошлый раз тоже обещал.

— В прошлый раз у меня не было кожи.

Мы вернулись на сцену в коже и с новыми причёсками. И вот что странное: зал изменился. Мы ещё играли те же песни, тот же драйв, тот же крик. Но теперь нас воспринимали. Не как пятерых парней, которые вышли, чтобы занять сцену, а как группу с именем. С лицом. Со стилем. С чёрно-белой эстетикой Астрид, с чёлкой, с кожей — всё срослось.

Клаус стоял у стены и улыбался. Астрид щёлкала затвором. Бруно, глядя на нас в коже, только хмыкнул:

— Теперь вы похожи на то, что я, наверное, и нанял.

— А что нанял?

— Группу, которая выглядит, как звучит.

— А звучим мы как?

— Как Гамбург. Как ночь. Как Репербан.

— Неплохо, — кивнул я. — Неплохо для пяти жуков.

Ночью, когда сеты закончились, мы сидели у Астрид. Свечи, чай, тишина — после восьми часов грохота тишина звучала почти физически. Стю рисовал Астрид. Астрид фотографировала нас. Клаус рисовал конверты, которые мы обещали разжигать в камине, но так и не разжигали, потому что стало жалко.

— Джон, — вдруг сказала Астрид, — вы когда-нибудь задумывались, что всё это может закончиться?

— Всё заканчивается, — пожал я плечами. — Сеты. Пиво. Вечера. Жизнь.

— А вы не боитесь?

— Боюсь, — честно сказал я. — Но страх — это как плохой звук. От него можно спрятаться в громкости.

Астрид посмотрела на меня. В её взгляде было что-то, чего я не смог расшифровать. Может, жалость. Может, предчувствие. Может, просто огонь свечи отражался.

— Тогда играйте громче, — сказала она. — Пока не начнёт дрожать этот город.

— Дрожать? — Пол поднял бровь, не отрываясь от блокнота.

— Пока не начнёт дрожать весь мир, — поправилась Астрид, и свеча мигнула, как будто с ней согласилась.

Глава 11. Два месяца до алтаря, одна драка на сцене и прослушивание у Экхорна

Ноябрь. Мы были в Гамбурге уже почти пять месяцев. Пять месяцев чулана, четырёх сетов, пива и колбасы. Пять месяцев — и мы уже не те, кто приехал. Мы даже пахли иначе: не Ливерпулем, а Репербаном.

А Стю с Астрид… Стю с Астрид обручились. Два месяца после знакомства. Два! Я, в смысле сроков, человек следующий: свои яйца… эм, своих цыплят, я высиживал неделями. А тут — два месяца, кольцо, слово, семья.

— Два месяца? — переспросил я, когда Стю обрадовал нас новостью. — Стю, я два месяца выбираю, в какой тарелке меньше плесени. А ты за два месяца выбрал жену.

— Я не выбирал, — ответил Стю спокойно. — Я просто заметил, что без неё мне не хватает воздуха.

— Красиво, — кивнул Пол.

— Скажи это Мими, — буркнул я. — Она ответит: «Джон, воздух есть везде. А обязанности — только в браке».

— А ты не создан для брака, — хмыкнул Джорж, — хоть за год. Ты бы за десять лет не управился. Ты ж со всеми постоянно сразу споришь.

— Я не спорю. Я совершенствую окружающих.

Клаус молчал. Клаус вообще в те дни много молчал. Он улыбался Стю, поздравлял, поднимал кружку — и улыбался улыбкой человека, который отдал другу самое дорогое и делает вид, что это была просто лишняя деталь гардероба. Я смотрел на него и думал: вот это, ребятки, называется «джентльмен». В Ливерпуле таких не водится. В Ливерпуле в таких случаях бьют по морде.

А теперь — драка. Прошу занять места, начинаем цирковое представление с участием двух моих лучших друзей и одной моей глупой реплики.

Нет, стоп. Драка была не по моей реплике. Драка была по вине Пола. Я, по крайней мере, в этой главе невиновен. Наслаждайтесь редким зрелищем: Леннон в роли наблюдателя.

Мы играли сет. Обычный сет. Пол между песнями решил пошутить — Пол вообще любит пошутить так, что потом полклуба собирает осколки. Он что-то сказал про Астрид. Что-то лёгкое, в его стиле — с той улыбкой, от которой хочется смеяться или врезать, в зависимости от погоды и объёма выпитого. Что именно — не скажу. В могу сказать одно: про Астрид можно шутить всё, что угодно, кроме того, что он сказал.

Стю обернулся. Медленно так обернулся. Бас ещё гудел последнюю ноту, а Стю уже был не с нами. Глаза — как у человека, который включил свет в комнате, где сидел год в темноте.

— Что ты сказал? — спросил он.

Пол, дебил дорогой, решил, что это начало второй шутки:

— Я сказал, что твоя…

И тут Стю ударил. Не в стиле «джентльменская пощёчина» — Стю не джентльмен, когда дело касается Астрид, Стю — шторм. Пол отлетел, задел стойку с микрофоном, микрофон упал, пища выстрелил в зал свистом, зал заревел от восторга — публике всегда плевать, дерутся ли артисты по сценарию или от души.

— Эй! — заорал я в унисон грохоту. — Мы в драке или на сцене?!

Оба не слушали. Пол вскакивал, Стю шёл на него, бас болтался у Стю на боку, как ,,шмайсер,, у эсэсовца на параде. Джорж с Питом отступили к краю сцены — умные ребята. Я стоял посередине и соображал, кого оттаскивать первым.

Додумал за долю секунды: обоих. Схватил Пола за воротник, Пит вцепился в Стю. Четверо орущих парней, сцена из пивных ящиков, зал в экстазе.

— Прекратить! — заорал я, выставив руку между ними. — Товарищи! У нас тут не Репербан, а…

— Это и есть Репербан, — вылез Джорж с гуманитарной точностью.

— Вот! Именно! Поэтому — либо поём, либо дерёмся. Одновременно не выходит. Проверено.

Стю дышал, как кузнечный мех. Пол поправлял воротник и — вот что удивительно — не огрызался. Он видел такого Стю впервые. И понимал: сейчас или извиниться, или потерять басиста.

— Прости, — сказал Пол тихо. — Я не думал. Я вообще редко думаю, ты знаешь. Это моя фирменная черта.

Стю молчал. Потом взял бас. Молча встал на место. И мы доиграли сет — жёстче, чем когда-либо. Каждый аккорд был обвинительным актом, каждый удар — приговором. Зал не понял ни слова, но топал так, что ящики под сценой скрипели от счастья.

После сета Пол подошёл к Стю. Молчали секунды три.

— Кола? — предложил Пол.

— Пиво, — ответил Стю.

— По рукам.

Так и помирились. По-мужски: с бутылкой и без объяснений. Астрид узнала про всё от Клауса. Я не знаю, что она сказала Стю, но на следующий день Стю играл на басу так спокойно, что хоть святых выноси. Видимо, она сказала что-то вроде: «Пол — дурак. Но твой дурак. И мой тоже». Женщины умеют распределять собственность лучше юристов.

А теперь про наших новых друзей — студентов. Интеллигентов. Экзистов.

Слово «экзистенциалисты» в их кругу произносили полностью, с уважением, как произносят диагноз. Камю, Сартр, Ницше — эти имена у них звучали чаще, чем «Элвис» у нас в Ливерпуле. И вот интересно: сначала в «Кайзеркеллер» ходили моряки. Работяги. Пьяные и громкие. Потом началось вторжение: молодые люди в чёрном, с блокнотами, с сигаретами, с разговорами о пустоте и свободе. Их стало больше, чем моряков. Клаус их привёл — сначала по одному, потом пачками.

— Вы — протест, — говорил Клаус. — Вы — то, о чём они пишут в своих книгах, только громче.

— Мы не протест, — возражал я. — Мы шум. Протест — это когда ты хочешь что-то изменить. А мы просто хотим, чтобы нас услышали. Это другое.

— Нет, — упрямо говорил Клаус. — Вы протест против скучной жизни. Против всего, что сидит в конторах и считает чужие деньги.

— Конторы нужны, — заметил Пол. — Конторы дают деньги.

— Конторы, — подытожил я, — дают деньги, а мы даём смысл. Вот и поделили мир. Мы берём деньги за смысл, они берут смысл за деньги. Круг замкнулся.

Студенты слушали наши сеты, а потом — наши разговоры. И вот что я вам скажу: они приходили за музыкой, а уходили с философией. С нашей. Странной. Смешанной из рок-н-ролла, самоиронии и ливерпульского цинизма.

— Джон, — сказал мне один из них, очкарик с блокнотом, — вы играете так, будто жизнь — это бой без правил.

— Нет, парень, — ответил я. — Жизнь — это бой с правилами, которые придумали те, кто в бою не был. А мы играем так, будто правил нет вообще.

Он записал в блокнот. Я потом спросил, что записал. Он показал: «Жизнь — бой с правилами тех, кто не был в бою».

— Красиво, — сказал я.

— Это ваши слова.

— Знаю. Поэтому красиво.

В городе между тем образовались две армии. Рокеры и экзисты. Рокеры — кожа, мотоциклы, причёски, брутальность. Экзисты — умные, худые, задумчивые, из тех, кто сидит в углу и думает о смысле жизни, пока ты думаешь, где достать пива.

И вот что смешно: они друг друга терпеть не могли. Рокеры смотрели на экзистов как на нечто домашнее. Экзисты смотрели на рокеров как на громкое недоразумение без внутреннего мира.

А мы? Мы оказались между двух огней.

— Вы играете для нас, — заявляли рокеры. — Драйв, скорость, энергия!

— Вы играете для нас, — возражали экзисты. — Смысл, тоска, хрип.

— Господа, — выходил я к микрофону, — мы играем для себя. Вы просто имеете счастье присутствовать.

Зал ржал. И рокеры, и экзисты. Единственное, что их объединяло. Наша самоуверенность.

Правда, Астрид на это смотрела иначе:

— Джон, ты не понимаешь. Ты — мост. Через тебя рокеры слышат Камю, а экзисты — Элвиса.

— Астрид, я не мост. Я — шоссе. По мне ездят в обе стороны, и никто не платит пошлину.

— За такой мост, — она улыбнулась, — платят. Поверь. Не сейчас. Но поверь, будут платить и огромные деньги.

Я не поверил. Но запомнил. Астрид вообще была из тех людей, чьи слова откладываются в голове, как мелочь по карманам, а потом вдруг находишь и удивляешься: откуда столько?

Рождество приближалось. Это чувствовалось во всём: в витринах, в запахе глинтвейна на улицах, в том, что Бруно стал считать наши сеты с той особой жадностью, с которой скупщики считают монеты перед Пасхой. В Ливерпуле в это время шёл снег, Мими грелась у камина, а я…

А я сидел в Гамбурге, в чулане на пятерых, и писал письмо Мими. Обещал же — строчку в месяц.

«Дорогая Мими. Всё хорошо. Мы играем. Мы живы. Я постирал носки. Твой Джон».

Три предложения. Но для меня это было как поэма. Я даже перечитал. Мими ответила открыткой: «Носки — это хорошо. Но помни: таланты без образования — это как корабль без руля. Люблю. Тётя».

— Что она пишет? — спросил Пол.

— Что талант без образования — корабль без руля.

— Смешно, — заметил Пол. — У нас и корабля-то нет. Есть бочка. И она дырявая.

— Дырявая, но плывёт, — сказал я. — В правильном направлении. Кажется.

И вот тогда — в конце ноября, когда до Рождества оставалось ничего, а до конца контракта с Бруно — тоже ничего, — мы решились на шаг, о котором говорили давно.

«Топ Тен». Клуб Питера Экхорна. Тот самый. Хороший клуб. С нормальной сценой, с нормальной аппаратурой, с нормальной публикой. И с нормальной оплатой — что важнее всех нормальных сцен вместе взятых.

Экхорн. Слышали мы о нём много. Играет на саксофоне сам. Держит лучший клуб на Репербане. Привередлив, как немецкий поезд: минута — и всё, уехал.

— Пойдём? — спросил Пол. Даже не спросил — сказал. Пол говорит «пойдём» так, что это уже согласие.

— А Бруно? — Джорж проявил осторожность. Правильный мальчик.

— Бруно — это настоящее, — сказал я. — А «Топ Тен» — это будущее. Мими бы сказала: «Не проглатывай будущее, пока не переварил настоящее». Мими умная, но не в этом бизнесе.

— А в каком бизнесе Мими? — поинтересовался Пит.

— В бизнесе добрых советов. Самый прибыльный бизнес: не платят ни за совет, ни за его исполнение.

Мы пришли к Экхорну. Втроём — я, Пол, Джорж. Стю с Астрид и Клаусом ушли куда-то по своим художественным делам, Пит — спать: единственный в группе, кто понимал ценность сна.

Экхорн принял нас в клубе. Сидел за столиком, потягивал кофе, на нём был чёрный свитер и выражение человека, который в своей жизни повидал столько групп, что уже не удивляется даже драконам. Рядом — саксофон на стойке. Уважаю инструменталиста. Духовые — это солидно.

— Вы — «Битлз»? — спросил он.

— Мы, — кивнул я. — И мы хотим играть в вашем клубе.

— Много вас ходит, — он отхлебнул кофе. — Играете что?

— Рок-н-ролл. Блюз. Всё, что заставляет зал двигаться.

— Каждый говорит «заставляет зал двигаться». Зал обычно сидит, — он посмотрел на меня поверх чашки. — Чем вы отличаетесь?

Я подумал и сказал:

— Мы отличаемся тем, что нам нечего терять. Нет денег, нет славы, нет другого клуба. Только наглость и гитары. А наглость — это лучшее сырьё для рок-н-ролла. Она не кончается, в отличие от таланта.

Экхорн поставил чашку. Смотрел на меня долго.

— Кто из вас лидер?

— Я, — сказали я и Пол одновременно. И замолчали, посмотрев друг на друга.

— Хм, — Экхорн усмехнулся краем рта. — Хорошо. Слышал я про вас. Играете громко. Играете много. Играете в «Кайзеркеллере».

— Играли, — поправил я.

— Играете, — упрямо сказал Экхорн. — А «Топ Тен» — это другой уровень. Другая публика. Другие требования. Вы уверены?

— Мы уверены в одном, — ответил я. — Мы лучше, чем вчера. А вчера мы были лучше, чем позавчера. Это и есть наша уверенность.

Он молчал ещё секунду. Потом кивнул — резко, как удар молотка:

— Прослушивание. Завтра. Вечером. Приносите всё. Играете три песни. Я смотрю. Я слушаю. Если нравится — контракт. Если нет — не обессудьте.

— А если нравится? — не удержался Пол.

— Если нравится, — Экхорн поднялся, — то вы узнаете, что такое играть четыре сета в «Топ Тене». И это будет не «Кайзеркеллер».

— А что это будет?

— Это будет жизнь, — он загасил сигарету в пепельнице. — Настоящая. Удачи, мальчики.

Мы вышли на улицу. Дождь. Неон. Репербан. Всё, как всегда. Но сердце колотилось по-новому.

— Ну? — Пол посмотрел на меня.

— Ну, — ответил я. — Завтра. Три песни. Всё или ничего.

— Всё, — сказал Пол твёрдо.

— Всё, — повторил Джорж.

— Всё, — донеслось из-за спины. Стю вернулся с Клаусом. Астрид стояла чуть поодаль — она пришла к клубу, как будто знала, что мы будем здесь, и просто ждала. Со своей камерой. Как всегда.

— Стю, — сказал я, — ты знаешь про Топ Тен?

— Да, — он улыбнулся. — Я был у Астрид. Она сказала: если завтра «Топ Тен» — я приду фотографировать.

— Она всегда всё знает? — хмыкнул я.

— Нет, — ответил Стю серьёзно. — Она просто всегда приходит. Это больше, чем знать.

Я промолчал. Иногда лучшее, что может сделать Леннон, — это заткнуться. Редкое умение. Но случается.

Ночью мы вернулись в чулан. Пятеро. Две койки. Одна ночь до прослушивания.

— Кто будет петь первую? — спросил Пол, лёжа на койке и глядя в потолок.

— Я, — сказал я. — Как всегда.

— А вторую?

— Ты.

— А третью?

— Вместе.

— Это глупо.

— Это «Битлз». У нас всё глупо. Поэтому и работает.

Потолок молчал. Дождь стучал по окну размером с тетрадный лист. Где-то внизу, на Репербане, гудели огни, играла музыка, жила ночь. А мы лежали в чулане и думали о завтрашнем дне.

Завтра. Прослушивание. «Топ Тен». Всё или ничего.

Я закрыл глаза. И в темноте услышал, как бьётся ритм — где-то в груди, где-то в стенах, где-то в самом Гамбурге. Держался. Как Ринго. Как ночь. Как мы.

Завтра — всё.

Глава 12. Три песни и человек с саксофоном

Прослушивание было назначено на вечер. То есть на то самое время, когда нормальные люди едят, а мы — играем. Хотя, честно говоря, к вечеру я уже и не помнил, что такое нормальные люди. В Гамбурге нормальные люди — это легенда, как Лох-несское чудовище: все слышали, никто не видел.

Мы собрались в чулане и провели совет. Совет длился минуты три — рекорд для нашей группы, где обычно на решение «что играть» уходит вся ночь и полбутылки чего-нибудь.

— Три песни, — сказал Пол, загибая пальцы. — Значит, первая — чтобы показать, что мы умеем. Вторая — чтобы показать, что мы умеем больше, чем кажется. Третья — чтобы Экхорн понял, что мы другие.

— А если после третьей он всё ещё не поймёт? — спросил Пит.

— Тогда четвёртую сыграем гитарой по его саксофону, — ответил я. — Он точно запомнит.

— Это, — заметил Пит, — был бы первый случай в истории, когда группа получает контракт и полицию одновременно.

— Мультизадачность, Пит. Будущее за нами.

К «Топ Тену» мы подошли за полчаса. Не потому, что боимся опоздать — потому что нам надо было размяться. А как разминаются гитаристы? Правильно: дерутся за микрофон. Ну, почти.

Стю нёс бас, как нёс бы рояль: бережно, даже нежно. Я заметил, что с того дня, как он обручился, Стю стал каким-то… округлым. Не в теле — в лице. Влюблённые выглядят, как надутые шарики: вроде те же, а воздуха больше.

— Стю, ты чего улыбаешься?

— Ничего.

— Ты улыбался глупо, так всю дорогу от чулана. Улыбайся уже поконкретнее.

— Я просто думаю, что завтра всё изменится.

— Завтра изменится разве что погода. Всё остальное мы изменим сами.

— И это будем мы, — сказал Стю.

Вот и весь Стю. Может, поэтому Астрид его и выбрала. Художник не кричит «я изменю мир». Художник молча меняет его — и замечает это последним.

Экхорн ждал нас внутри. Он сидел за столиком в пустом зале — зал, кстати, был куда солиднее «Кайзеркеллера»: свет, пространство, нормальные стены, которые не похожи на дно заброшенного судна. На сцене стояла аппаратура — настоящая, не та, что мы выписали у колледжа «для танцев». Колонки солидные. Усилители выглядели так, будто о них заботились. Я сразу проникся уважением. К аппаратуре. К Экхорну.

— Играйте, — сказал он и скрестил руки. — Три песни. Начинайте.

Мы вышли на сцену. Настроились. И я вдруг почувствовал то же самое, что в первый вечер в «Indra»: зал пустой, а в нём всё равно кто-то сидит. Только теперь этот кто-то был один, у него был саксофон и каменное лицо, и от этого пустой зал стал самым страшным залом мира.

Первая песня. «Matchbox». Быстрая, звонкая, чистый рок-н-ролл. Пит колотил так, будто за каждый удар платят отдельно. Джорж играл соло — и соло было клевым, даже я это заметил, а я, как известно, величайший критик собственной группы. Стю выдал басовую линию, от которой зал — будь он полон — начал бы двигаться.

Экхорн не двигался. Вообще. Даже бровь не шевельнулась. Человек сидел так неподвижно, что я заподозрил в нём манекен. Или фотографа, который очень хорош в роли статуи.

— Вторая, — сказал он, когда мы закончили.

Вот и всё. Ни «хорошо», ни «плохо», ни «теперь быстрее». Просто «вторая». Как будто он заказывал пиво.

Пол подмигнул мне. Я подмигнул Джоржу. Пошли.

Вторая песня. «What'd I Say». Та самая, после которой моряки в «Indra» вставали. Мы сыграли её злее, чем когда-либо: я орал, Стю держал бас, как якорь держит корабль в шторм, а Пит выкладывался так, что я боялся за его палочки — вот-вот вспыхнут.

Экхорн сидел. Молчал. Смотрел.

Я, между делом, успел заметить: пальцы его правой руки отбивали ритм по столу. Едва заметно. Едва-едва. Но отбивали. Вот, значит, как выглядит этот человек: снаружи — гранит, внутри — метроном.

— Третья, — сказал он, когда мы закончили.

И вот тут я почувствовал: что-то пошло не так. Не потому, что мы плохо играли — мы играли отлично. А потому что я вдруг понял: он слушает не песни. Он слушает нас. И мы всё ещё играем «как надо». А «как надо» Экхорна не интересует.

— Джон, — шепнул Пол, пока Пит отбивал счёт, — он не реагирует.

— Значит, пойдём на третью с подрывом, — шепнул я в ответ.

— С подрывом?

— Мы играем ему технику. Он её слышал тысячу раз. Дадим ему то, чего не слышал никто.

Пол посмотрел на меня. И я увидел, как в его глазах загорается та самая лампочка — та самая, которая потом зажигалась перед каждым «yeah, yeah, yeah».

Третья песня. И тут случилось то, что я потом буду рассказывать внукам — если заведу внуков, а не племянников Мими.

Мы начали играть «Long Tall Sally». Но не так, как её играл Рори. И не так, как играли мы. Мы сыграли её так, как она звучала у нас в головах после пяти месяцев Гамбурга: жёстко, криво в нужных местах, с паузами в тех местах, где пауз не ждут. Джорж сорвал соло — просто сорвал, как рвут обёртку. Пит ушёл в такой бит, что я на секунду потерял реальность — и не вернулся обратно. Я сделал лучше: я перестал считать и стал петь.

И вот в этой «неправильности» родился звук. Тот самый. Гамбургский. Грубо отполированный, как булыжник, по которому сто лет топчутся моряки.

Астрид, между тем, сидела в глубине зала и снимала. Щёлк. Щёлк. Я потом посмотрю на эти снимки и пойму: на них — не мы. На них — момент, в который мы стали настоящими Битлз.

Когда мы доиграли, зал — а зал был пуст, напоминаю, — взорвался тишиной. Самая громкая тишина в моей жизни.

Экхорн медленно поднялся. Положил руки на стол. И сказал:

— Что это было?

— «Long Tall Sally», — ответил я.

— Нет, — он покачал головой. — Это была не «Long Tall Sally». Это было что-то другое. Что?

— Это была «Long Tall Sally», — сказал Пол, — которую играют парни, которые пять месяцев играют по четыре сета в ночь.

Экхорн молчал. Потом — и вот тут у меня ёкнуло сердце — он взял саксофон. Поднял. Поднёс к губам.

И заиграл.

Он играл что-то среднее между блюзом и джазом — но главное, он играл НАМ. Не для зала — зала-то не было. Нам. И мы, не сговариваясь, подхватили. Джорж подстроил гитару, Пит вошёл в ритм, Стю повёл бас, Пол кивнул — и мы играли вместе с Экхорном, как будто репетировали это год.

Это длилось минуты три. Потом он опустил саксофон. И сказал:

— Вы будете играть у меня.

Я, признаться, ждал большего шума. Мими всегда учила меня, что после песни надо вставать и кланяться. Экхорн же просто сел обратно за столик и взял чашку, а мы тоже сели за соседний столик.

— Только три условия, — сказал он, отхлебнув.

Мы переглянулись. Условия. Ага. Так вот куда делись комплименты.

— Первое, — он поднял палец. — Вы играете так же, как сейчас. Не тише. Не правильнее. Не «лучше». Так же. Понимаете?

— Понимаем, — сказал я.

— Второе. Вы приходите на сеты. По три часа в день. Бесплатно.

— Бесплатно? — я скривился. — Питер, это как-то не по-гамбургски.

— Это по-гамбургски, — отрезал Экхорн. — Хорошие вещи всегда бесплатны. Платишь за посредственные.

— Какая философия! — восхитился я.

— Не философия, — хмыкнул он. — Бизнес.

— Третье?

— Третье, — Экхорн посмотрел на Стю. — Басист. Ты играешь хорошо. Но недостаточно хорошо.

Стю дёрнулся. Астрид, в глубине зала, опустила камеру. Клаус, который стоял у стены — я даже не заметил, когда он вошёл, — тоже поднял голову.

— Я учусь, — сказал Стю.

— Учись быстрее, — ответил Экхорн. — У меня публика не ждёт.

И вот тут я сказал то, что потом сам же себе запретил вспоминать. Потому что это было слишком честно для Джона Леннона. Но сказать надо было:

— Питер, — я шагнул вперёд, — Стю — наш басист. Если он не дотягивает — мы его выучим. Вместе. Если тебя не устраивает его игра сегодня — подожди месяц. Через месяц он будет играть так, что твой саксофон начнёт завидовать.

Экхорн посмотрел на меня. Долго. Потом — впервые за вечер — улыбнулся. Улыбка была узкая, как позвоночник у рыбы, но настоящая.

— Хорошо, — сказал он. — Месяц. И потом я решу.

Он повернулся к нам спиной — жест, который у другого человека выглядел бы наглостью, а у Экхорна смотрелся как точка в конце фразы.

Мы вышли на улицу. Дождь уже кончился. Неон отражался в лужах, как будто город красил сам себя. Астрид догнала нас у двери.

— Джон, — сказала она тихо, — ты только что защитил Стю перед Экхорном.

— Я? — я пожал плечами. — Я просто торгуюсь. Это было не за Стю. Это было за «Битлз». Мы не продаём своих. Даже по частям.

Астрид посмотрела на меня. И вдруг — вот чего я не ждал — она шагнула ко мне и обняла. Быстро, крепко, как обнимают за сына. За брата. За того, кто оказался лучше, чем о нём думали.

— Ты хороший, Джон, — сказала она.

— Не возноси, — буркнул я. — У меня репутация мерзавца.

— Тогда оставайся мерзавцем. Только иногда — вот таким, милым мерзавцем.

В ту ночь мы вернулись в чулан. Пятеро. Две койки. Дождь стучал в окно размером. А я лежал и смотрел в потолок и думал: «Топ Тен». Мы — в «Топ Тене». Мы прошли.

Пол, видимо, думал о том же, потому что вдруг заговорил:

— Джон.

— Ммм?

— Мы прошли.

— Я заметил, Пол. Я там стоял.

— Нет, ты не понял. Мы прошли прослушивание в «Топ Тене». У Экхорна. Ты понимаешь, что это значит?

— Это значит, что мы теперь играем в клубе получше. За деньги побольше. С сетами похуже, потому что бесплатно.

— Нет, — Пол сел на койке. — Это значит, что мы больше не «группа из Ливерпуля, которая играет в Гамбурге». Мы — «группа, которую выбрал Экхорн».

— Пол, ты слишком драматизируешь.

— Я? — он посмотрел на меня. — Это я-то? Слушай, а кто час назад орал Экхорну в лицо, что его саксофон начнёт завидовать басу Стю?

— Это была стратегия, — ответил я с достоинством.

— Это была дерзость.

— Дерзость — это и есть стратегия. Просто с хрипотцой.

Джорж, не открывая глаз, буркнул с задней койки:

— Заткнитесь оба. Спать надо. Завтра — «Топ Тен».

— Он прав, — сказал Пит.

— Он всегда прав, — сказал Пол. — Поэтому его никто не слушает.

Стю улыбнулся. И в этой улыбке я вдруг заметил что-то новое. Не влюблённость. Не радость. Что-то похожее на… решение. Как будто он уже всё решил, но пока не сказал.

Я потом узнаю, что он имел в виду. Но не сейчас.

Сейчас потолок молчал, дождь стучал, Репербан гудел за окном, а я засыпал с мыслью, что «Битлз» — это не пять парней с гитарами. Это ритм. Один. На всех.

Завтра — «Топ Тен».

Завтра — всё.

Глава 13. Прощай, Гамбург, или, как нас вычистили щёткой

Германия была с нами почти пять месяцев. И надо же было ей передумать — аккурат перед Рождеством. Немцы. Как в каком-нибудь супермаркете: купил, всё съел, — и кассир смотрит так, будто тебе нечем платить. А у нас и правда нечем.

Началось с Джоржа.

Всё было хорошо. Играл он блестяще, всё лучше с каждой ночью. «Топ Тен» пыхтел, публика прыгала, Экхорн хмурился — но в его случае хмурое лицо означало «отлично». А потом в клуб заглянули какие-то чиновники. В Гамбурге они появляются так же внезапно, как полиция на Репербане — и с той же радостью на лицах.

До них наконец то дошло. До кого-то дошло, кого я хотел найти и лично пожать руку, а потом дать по морде, — дошло, что Джоржу семнадцать лет.

СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ.

Джорж. Наш гитарист. Мальчишка, который месяцами играл по четыре сета в ночь среди моряков, пьяниц и девушек с улиц с неоновыми вывесками. Который привез в страну безалаберный рок-н-ролл — а вывозить его пришлось раньше времени.

— Джорж, — сказали ему вежливо. По-немецки. А вежливость немцев страшнее любого мата. — Вы должны покинуть Германию.

— Покинуть? — Джорж смотрел на них так, будто у него спросили, не хочет ли он улететь на луну.

— Сегодня. Лучше завтра. Но лучше сегодня.

Вокзал. Холодный, гулкий, пахнущий сажей и чужими чемоданами. Астрид и Стю отвезли его туда. Купили билет. Посадили на поезд. Всё сделали так по-человечески, что мне аж стало тошно от того, что я там был.

Джорж стоял на перроне растерянный. Бедный маленький Джорж. Худой, растерянный, с гитарой. Глаза — как у щенка, которого помыли, причесали и выбросили на улицу. Семнадцать лет. Я в семнадцать ещё не то, что не выезжал — я из дома выбегал на вечер, и то Мими проверяла.

Астрид сунула ему в руки пакет. В пакете — конфеты и яблоки.

— Конфеты? — хмыкнул я, когда услышал. — Яблоки? Астрид, его депортируют, а ты его отправляешь на детский утренник.

— Ему восемнадцать лет не хватает, — сказала Астрид спокойно. — Пусть не хватает вместе со сладким.

— Питание для рокера, — согласился Пол. — Яблоко утром — и весь день не поёшь дерьма. То есть поёшь, но с витамином.

Джорж съел одно яблоко прямо на перроне. Хрустел так громко, что перрон дрожал. Перрон смотрел, как первая батарейка «Битлз» покинет эту электробритву. И эта батарейка, отчаянно хрустела яблоком.

— Джон, — сказал он перед тем, как сесть, — я вернусь.

— Не сомневаюсь, — ответил я. — Ты — один из немногих, кто умеет доводить начатое до конца. Вот закончишь школу — и возвращайся.

Поезд взвизгнул, заскрипел и повёз нашего малыша. Стоял он у окна бледный. Рукой помахал. Яблоко в руке. Гитара на плече. Репербан остался за хвостом поезда.

И это, клянусь, было самое тоскливое зрелище. В Гамбурге не осталось нашего самого молодого и самого звонкого. Да, без Джоржа звук наш вдруг стал пустым, как барабан без палочек.

А дальше стало хуже. Гораздо хуже. Как всегда бывает, когда тебе кажется, что хуже уже некуда.

Мы играли в «Топ Тене». Играли блестяще, если так можно говорить о тех, кто живёт в кинематографическом сарае под названием кинотеатр «Бэмби-кино» — вот, кстати, наш новый «отель». Холодильник посреди комнаты. Дверь с щелями. Красный свет. Названия «Bambi» — и это называлось ночлегом.

И вот как-то раз — вечером, холодным, после сета — мы возвращаемся в это «жилище». Света нет. Нас ждёт тьма и сырость, что в принципе то же самое, что свет, но дешевле.

И тут случилось то, что я потом буду оправдывать всю жизнь, потому что оправдывать нечего.

Что-то подожгли.

Впрочем, я скажу, как было. На стене, в коридоре «Бэмби-кино», висел презерватив. Не спрашивайте. Кто-то из предыдущих жильцов оставил подарок. А мы — Пол и ещё чей-то гений, не признаюсь, — решили: а что будет, если его поджечь?

Что будет? Будет ругань, пожар, полиция и депортация. Вот что будет. Потом.

Мы подожгли его на голодный желудок, в клубе «Бэмби-кино», перед Рождеством. Огонь был небольшой. Как в чёрно-белом кино. Даже по-немецки красивый. Но он ещё ничего не знал о нашей судьбе.

Минут через десять после этого — так, ради профилактики — в коридор заглянул хозяин кинотеатра. Оказалось, стена все-таки загорелась, от не потушенного презерватива.

Я сначала услышал крик, потом понял, что это крик. Потом до меня дошло, что это крик на НАС. А потом мы поняли, что теперь нам делать нечего: свет выключать поздно, а примиряться не с кем.

Дальше было кино в стиле американского вестерна. То есть — полиция.

Нас продержали в участке три часа. ТРИ ЧАСА. На стуле, под лампочкой, которая качалась, как маятник, будто отсчитывала наше оставшееся в Германии время. Все три часа немецкий полицай ходил по кругу и смотрел на нас, как на четверых! парней, которые приехали портить его город.

— Вы, — говорил он, — приехали в Германию играть музыку. А вы ведёте себя как бандиты.

— Мы не бандиты, — сказал Пол. — Мы музыканты. Внимание на разницу.

— Разница? — полицай смотрел на нас сверху вниз. — В чём?

— Бандиты забирают. Мы отдаём. Музыку, — добавил я.

Полицай помолчал. Я ждал улыбки. Улыбки не было. Эти ребята никогда не устают от той самой немецкой вежливости.

— Вы будете депортированы, — сказал он вместо улыбки.

— Все? — спросил Пит. — Все четверо?

— Все. И Джордж Харрисон, — добавил полицай, как будто не слышал, что Джорж уже уехал. — И вы.

— Джорж — уже депортирован, — сказал я.

— Тогда его не трогаем, — согласился полицай с логикой, достойной всякой бюрократии. — Но остальные — да.

И вот тут всё встало на свои места. Германия прогнала нас. Всех. За презерватив. За один презерватив, я вас умоляю. Слова «рождественский сюрприз» я отныне ненавижу.

Пит и Пол уехали раньше. А мне осталось… Осталось мне, слава богу, тянуть на спине усилитель. Тот самый усилитель, который мы выхватили у колледжа, как нищие монету из фонтана. Тот самый. Он весил, как небольшой дракон, и было его протаскивать через вокзалы и перроны — отдельное искусство. Я его не вывозил — я его волок. На спине. Как это выглядит? Представь себе худого парня со странной прической, в чёрной коже, с усилителем на спине, который к тому же вечно пытается упасть. То есть вечно падает. То есть я падаю вместе с ним. То есть я — усилитель, а он — Джон Леннон, или наоборот?

Был страх. Был холод. Была вонь. Был поезд, паром, снова поезд. Были ночи в чужих городах, где я не знал никого и никто не знал меня. Была идея выбросить усилитель. Была идея выбросить себя. Но одна стоит дороже другой, поэтому выбрасывать было нечего.

Я уезжал один. Раньше — Джорж. Потом Пит и Пол. Теперь я. В Ливерпуль, к Мими, к своим истокам. Тащил на спине усилитель и тащил в голове мысль: а вдруг всё? А вдруг это всё — конец?

Стю тоже велели убраться. Тот же полицай, те же слова. Только у Стью судьба оказалась помягче: не с усилителем на спине.

Стю уезжал с комфортом. Комфортом звалась Астрид. Перед отъездом Стью жил у нее. В ее квартире. Там был чай, были свечи. У Стю были стол, стул, зеркало. Всё, что нужно художнику, у которого отобрали группу. Астрид его проводила и дала денег на дорогу.

— А мы? — спросил я перед отъездом. — А мы куда?

— А вы, — ответила Астрид просто, — вернётесь в Ливерпуль. И станете лучше. А потом вернётесь сюда — и Гамбург поймёт, что прогнал не группу, а своё будущее.

— Красиво сказано, — кивнул я.

Она меня обняла. И я поехал с усилителем за спиной.

Ливерпуль встретил меня зимой. Слякоть, серость, туман. Я прибыл на Менлав – Авеню глубокой ночью. Пришлось бросать камешки в окно, что бы Мими спустилась и открыла дверь. Мими долго смотрела на меня. На этого худого, чумазого, с усилителем за спиной, — а потом сказала:

— Джон.

— Да, Мими.

— Ты выглядишь ужасно.

— Спасибо. Это новая мода. Она называется «Гамбург» и заплати за такси.

— Джон. Ты был в Германии. Что ты там делал? Где обещанные сто фунтов в неделю?

— Ты в своем репертуаре Мими, не видишь, я с ног валюсь.

— Ты хоть там спал?

— Иногда. Между сетами. И полицией.

Мими вздохнула. Так вздыхают только женщины, которые вырастили такого племянника, как я. А потом она поставила мне чай. И мы посидели. И всё стало почти нормально. «Почти» — как всегда.

Пол и Джорж приехали к себе домой. Пит — к маме в «Касбу». Стю был где-то между Гамбургом и Раем. Клаус в Гамбурге. Астрид — там же. Экхорн — там же. Бруно — там же. А мы — здесь.

И вот тут началась пауза. Самая страшная пауза в истории «Битлз». Мы друг с другом не общались. Не виделись. Каждый сидел в своей норе, у каждого — свой страх, своя злость, своя пустота. Я не звонил Полу. Пол не звонил мне. Телефон у нас был? Да, в смысле — существовал. Просто пальцы не дозванивались. Пальцы сами не хотели.

У нас даже не было уверенности, что «Битлз» соберутся вновь. Вот так. Вечером, засыпая я сказал себе: «Мы опять пятеро, и опять всё будет в порядке» — а наутро проснулся и подумал: «А может, всё? Может, эта вся музыка была просто игрой?»

Страшное слово — «может».

Несколько недель мы не общались.

— Ну? — как-то спросил я сам себя в полночь. — Так и будешь сидеть?

Себе я не ответил. Себе не зачем отвечать — это норма.

И тут вмешалась судьба. Или, точнее, случайность. Или, точнее, Джордж. Он позвонил Полу. Просто так. Просто спросил: «Как у тебя в Ливерпуле дела?» Пол ответил: «Плохие». Джорж сказал: «У меня тоже». И это всё. Две минуты разговора. И после этих двух минут что-то щёлкнуло.

Пол позвонил мне.

— Джон.

— Пол.

— Слушай.

— Говори.

— А давайте соберёмся?

Я молчал. Пол молчал. По трубке гудело, как в комнате, где слишком много слов и слишком мало решимости.

— Где? — спросил я наконец.

— У Пита в «Касбе». Его мама зовет.

— Слушай, — сказал я, — если соберёмся, то без фокусов. Без «давайте ещё подумаем». Просто соберёмся и сыграем.

— Хорошо, — сказал Пол.

— Хорошо, — согласился я.

И вот тут я понял что-то важное. Понял в тот самый момент, когда сказал «хорошо». Понял, что вся эта история с Германией, с презервативом, с усилителем на спине — это была не катастрофа. Это была пауза. Между двумя главами. А главы продолжались.

Мы собрались. Хоть без денег, хоть в лохмотьях. Хоть не зная, что дальше. Но собрались.

Потому что «Битлз» — это не пять парней с гитарами. Это ритм. Один. На всех.

Даже когда все плохо.

Глава 14. «Возвращение легендарных Битлз», или, как нас перепутали с немцами

Ливерпуль после Гамбурга — это как после гриппа выйти на прогулку: вроде жив, но движение воздуха смущает. Мы сидели по норам, Битлз были рассыпаны, как бусы с порванной нитки, и единственный человек в Ливерпуле, который верил, что бусы можно собрать обратно, был не я и не Пол.

Это был Нил Эспинолл.

Нил — друг Пита, парень, который умел делать то, чего не умели мы: создавать легенду из ничего. У нас был только репутационный шрам — «вернулись из Германии с позором» — а Нил превратил его в рекламу.

Он рисовал афиши. Кучу афиш. Огромные, наглые, с буквами размером с противень. И на каждой — надпись, от которой у меня до сих пор сводит челюсть:

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНЫХ БИТЛЗ».

— Нил, — сказал я ему, глядя на первую афишу, — мы легендарны? С каких пор?

— С тех пор, — невозмутимо ответил Нил, — с которой я это написал.

— Нил, мы вернулись из Гамбурга депортированными. За поджог презерватива.

— Афиша этого не упоминает. Афиша вообще не знает слова «презерватив». Афиша знает слово «легендарные». Люди верят тому, что читают.

— Люди, Нил, не читают афиши. Люди читают газеты, а в газетах о нас писали из полиции.

— Значит, будем читать афиши. Я расклею их на стенах и дверях. На каждой двери города.

И он расклеил. На стенах, на дверях, на заборах, на дверях, где уже висели другие афиши — поверх их. Нил жил по принципу: место занято — значит, надо было занимать раньше.

Мими, разумеется, увидела одну из афиш первой.

— Джон. «Легендарные Битлз»?

— Это Нил.

— Нил, значит. А ты кто?

— Легенда, Мими. Официально.

— Джон, легендарный — это тот, о ком слагают сказания. О тебе слагают жалобы. Я читала одну из них. Прошлой ночью. Из твоего музыкального центра, в одиннадцать часов вечера.

— Мими, это называется репетиция.

— Это называется «соседи пишут записки». Легенды не репетируют в одиннадцать. Легенды репетируют тайно. Или лучше — нигде.

— Мими, ты только что дала мне бизнес-план. Спасибо.

Первый концерт после возвращения — в «Касбе». Дом мамы Пита. Деловое место, где миссис Бест умела превращать чай с кофе в культурное событие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.